

СЛОВО WORD

Журнал на русском и английском языках

**Литература Искусство
Общественные Проблемы**

ИЗДАТЕЛЬ:

Центр Культуры Эмигрантов
из бывшего Советского Союза

PUBLISHER:

Cultural Center for Soviet Refugees

СЛОВО-WORD JOURNAL

partially subsidized by

City of N.Y. Department

of Cultural Affairs

© All rights reserved

ISSN: 1042-7295

CULTURAL CENTER

FOR SOV. REFUGEES

SLOVO\WORD

P.O. BOX 1768

RADIO CITY STATION

NEW YORK, NY 10101-1768

E-Mail: slovo.word@gmail.com

Websites :

<http://issuu.com/slovoword/docs/slovoword>

<http://magazines.russ.ru/slovo/> (archives)

<http://litbook.ru/magazine/56/>

[http://www.promegalit.ru/magazines/slovo-](http://www.promegalit.ru/magazines/slovo-Word.html)

[Word.html](http://www.promegalit.ru/magazines/slovo-Word.html)

Продажа на сайте AMAZON (#80 - #99):

<http://goo.gl/p5axx7>

Продажа на сайте LULU (#100+):

<https://goo.gl/ptr57z>

Название по каталогу OCLC:

Slovo: organ Tsentra kul'tury emigrantov iz

Sovetskogo Soiuz =Word

Главный редактор

АЛЕКСАНДР А. ПУШКИН

Зам. главного редактора

ЛЕВ БЕРДНИКОВ

Редакционная коллегия

ГАЛИНА ИЦКОВИЧ

ДМИТРИЙ БОБЫШЕВ

ВЛАДИМИР КАНТОР

ИГОРЬ МИХАЛЕВИЧ-КАПЛАН

ВЕРОНИКА КУЗНЕЦОВА

ГЕННАДИЙ РАЗУМОВ

ЭДВАРДА КУЗЬМИНА

ВЛАДИМИР ОРНЫШ-ПОЛОНСКИЙ

НАДЯ РАФАЛЬСОН

СЕРГЕЙ ШАБАЛИН

ЕВСЕЙ ЦЕЙТЛИН

ИРИНА ЧАЙКОВСКАЯ

Компьютерный дизайн

МИХАИЛ РОДИОНОВ

Editors:

ALEXANDER A. PUSHKIN

LEV BERDNIKOV

GALINA ITSKOVICH

DMITRY BOBYSHEV

IRINA CHAYKOVSKAYA

VLADIMIR KANTOR

IGOR MIKHALEVICH-KAPLAN

VERONICA KUZNETSOVA

GENNADYI RAZUMOV

EDVARDA KUZMINA

VLADIMIR ORNYSH-POLONSKY

NADIA RAFALSON

SERGEI SHABALIN

YEVSEY TSEYTLIN

Design

MIKHAIL RODIONOV

СТИХИ И ИХ ПЕРЕВОДЫ

<i>Валерий Скобло</i> 47 РОНИНОВ	4
<i>Наталья Кравченко</i> ЭТО ЛАСКА ВСЕЛЕНСКАЯ, А НЕ ТОСКА....	10
<i>Вадим Горинов</i> СТИХИ 2020-ГО ГОДА	16
<i>Татьяна Ананич</i> ПОДНЯТЬ ПАРУСА – ОПУСТИТЬ ШТОРЫ	20
<i>Дмитрий Близнюк</i> В ШКУРЕ ЛЬВА	23
<i>Евгений Терновский</i> ОСКОРБЛЕННЫЙ ТИРАН.	25
<i>Александр Апуш</i> 4 АПРЕЛЯ 2021	27
<i>Михайло Лецкин</i> СОНЕТЫ. ПЕРЕВОДЫ Светланы Шаталовой	29
<i>Galina Itskovich</i> TRANSLATIONS FROM UKRAINIAN TO ENGLISH	32

ОСКОЛКИ ПРОШЛОГО

<i>Леонид Рохлин</i> ГОРЯЩИЙ ОСКОЛОК.	35
<i>Евгений Белодубровский</i> НЕБЫВАЛЬЩИНА.	45
<i>Давид Шраер-Петров</i> ИГРА В БУТЫЛОЧКУ	49

ИСТОРИЯ. ЛИТЕРАТУРА. НАУКА

<i>Лев Бердников</i> СОЖЖЁННЫЕ ЗАЖИВО	54
<i>Александр Шапиро</i> НЕРВ ЭПОХИ ПРОХОДИЛ ЧЕРЕЗ ЕГО СЕРДЦЕ	68
<i>Владимир Спектор</i> ОТ СЧАСТЬЯ СВОЕГО НЕ УБЕЖИШЬ. НО ЕГО ЕЩЕ ДОГНАТЬ НАДО...	73
<i>Анриета Жекова, Виктор Фет</i> ПЕРВЫЙ БОЛГАРСКИЙ ПЕРЕВОДЧИК «АЛИСЫ В СТРАНЕ ЧУДЕС»	76
<i>Виктор Фет</i> Памяти Нины Михайловны Демуровой.	82
<i>Виктор Фет</i> ВОСПОМИНАНИЯ О БАДХЫЗЕ И ГОРЕЛОВЕ	84

<i>Елена Пацкина</i> БЕСЕДЫ С МУДРЕЦАМИ. КОНФУЦИЙ	89
--	----

ПРОСТО ПРОЗА

<i>Фаина Косс</i> ЛЮБОВЬ И ПАНДЕМИЯ	92
<i>Татьяна Шереметева</i> СЕКРЕТ.	102
<i>Священник Николай Толстиков</i> ПРОСТИ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ	109
<i>Анатолий Постолов</i> ТРИ ИСТОРИИ.	115
<i>Сергей Зельдин</i> ТРИ РАССКАЗА	124

SUMMARY	132
--------------------------	-----

Валерий Скобло

* * *

Это, конечно же, точно — болезнь,
 иступление, страсть,
 Ибо бесплодно влечение к стишкам
 бесполезным.
 В дурку не зря их бессудно сажала
 советская власть,
 Им от болезни и дурки вдвойне было тяжко,
 болезным.

Я и сейчас за пристрастие явное к глупым
 стишкам
 В дурку сажал бы, и не исправляешься —
 снова.
 Я не сумею себе объяснить, а тем более —
 вам,
 Как отличить графомана от явно душевно-
 больного.

Встал и бормочешь чего-то с утра, поглядев
 за окно —
 Сразу жена по 03 вызывает машину.
 Что ж тут поделаешь? — спросите.
 Видно уж так суждено:
 Людям случайным не может позволен быть
 путь на вершину.

Это не кара, а просто реальный порядок
 вещей,
 Плата за риск (но сугубо скажу между
 нами) —
 За неумную склонность: журчать, точно
 горный ручей,
 Неутолимую тягу к безумной игре со
 словами.

Сколько их тех, кто не хочет прилежно
 трудиться кайлом,
 Властно стремящихся к слову прикладывать
 слово...
 Это болезненный вечного миропорядка
 излом.

Что ж не отлавливать, снова их в дурку
 сажая и снова?

2015

* * *

Еще чуть-чуть — и жизнь наладится,
 Ты и к гадалке не ходи.
 Оглянешься — как с горки катится,
 Все беды разом позади.

Так славно... Мало не покажется.
 Забыты и кредит, и морг.
 Электорат тогда отважится
 На общий искренний восторг.

Паденьем цен оно запомнится,
 Рубль укрепится сам собой.
 Молитвами бюджет наполнится,
 А также нефтяной трубой.

Эмбарго мерзкое отменится,
 Появится швейцарский сыр.
 Вован с Алёною поженятся,
 И снова нас полюбит мир.

Еще мгновение — все замиряется:
 Народ, известно, не дурак.
 Рыдая, к нам в объятья кинется
 Болгарин... или там словак.

А уж хохол... Простим беспутного.
 Чего и взять с него, хохла?
 Мы зла не затаим минутного...
 Наладятся тотчас дела.

Мы от мигрантов вмиг избавимся,
 И то сказать: зачем мигрант?
 К любому делу тягой славимся,
 Есть ко всему у нас талант.

Легко хорошее пророчится,
 Перед глазами — как в кино...
 Видать, вот тут-то жизнь и кончится,
 И не увидим, как оно?

2015

* * *

Когда подумаешь: ведь если и не мы, то кто
еще? —

Спроси, большую совесть теребя.
В конце концов, и эти саблезубые чудовища
Не так страшны, как страх внутри себя.

Окаменевший страх ...
В один комок в тебе спрессованный.
Не отколоть и малого куска.
Не битый ты еще... не пытанный никем, не
ломанный,
Не в ров со львами брошенный... пока.

В конце концов, ты пожил на земле и видел
многое,
И пострашнее беды были здесь.
А это — саблезубое, рычащее, двурогое...
Ему ты, право, не подвластен весь.

Таких и не бывает вовсе, не было
и в древности.
В нем вымысел — он весь и каждый штрих.
Метафора... Сном разума рожден
из повседневности —
Весь порожденье ужасов твоих.

2015

* * *

Армян, камбоджийцев и тутси,
Китайцев, евреев, цыган...
Индейцев еще не забудьте,
Прибавьте Вьетнам и Афган.

И вот — несмотря на все это —
Понятно, куда это гну —
Навряд ли дождусь я запрета
На всякую в мире войну.

Навряд ли дождется и дочка,
И внуки — к чему миражи?
Ты знаешь, в чем здесь заморочка?
И кто это знает? — скажи.

2016

* * *

Похож ли я, — спрошу, — на губернатора?
А на премьер-министра не похож?
Похож ли на эмира, скажем, Катара?
Ну, не похож... и черт с ним!.. ну и что ж?

Зато я вылитый Ван-Гог и Гете (в старости),
С Эйнштейном я, как капля с каплей, схож.
По-крупному похож, похож и в малости,
Такое сходство, что бросает в дрожь!

А как похож на Пушкина курчавого!
Мы просто — точно братья-близнецы!
На Циолковского похож и на Курчатова —
Не замечают сходства лишь глупцы.

Есть нечто в облике моем от гения,
Я даже схож с обоими Кюри.
Похож я на титанов Возрождения
Снаружи... а, тем более, внутри.

Мне Леонардо, Рафаэль и Микеланджело
Почти, как братья... я им тоже брат.
Мне по фиг... фиолетово-оранжево,
Что все начальники солиднее стократ.

Прокистет и весенняя проталина
От этих рож... прокистет и бензин.
И слава Богу, что похож я не на Сталина...
...Тем более, что я и не грузин.

2016

* * *

Я пережил коммунистов — ну что мне такая-то
шваль?
Как незабвенный Ильич говорил, мол, стена да
гнилая.
Наша дорога уходит все выше и круче, и вдаль,
Время не стоит терять, о таких пустяках
вспоминая.

Эти засранцы хотят нас Россию любить
научить!?

И не таких повидал, диамат и истмат изучая.
Я бы хотел посмотреть, где же будет их резвая
прыть,
Коли начнется в России опять перестройка...
вторая?

Про перестройку ввернул, чтоб не сглазить,
о худшем сказав.
К худшему даже во гневе не стал бы,
друзья, призывать я.
Кто помянет «беспощадный...
бессмысленный» —
как же неправ!
Пусть обращаясь к народу талдычит он: сестры
и братья!

Русский ли мир, Новороссия, Турция, Крым
ли, Дамаск —
Черни едино и швали равно присосаться
к чему бы,
Все расхищая дорогой и жмурясь от
барственных ласк...
Им все на пользу: вода и огонь... и, особенно,
трубы.

Жулики, воры... Ну, что они? Мелочь пузатая.
Враз
Ветер истории сдует таких. Сколько раз так
бывало...
Нету в истории многожды хоженных тропок
и трасс,
Но — только вдумайся и присмотришься:
есть параллелей немало.

Наша дорога — над этой трухлявой стеною
и ввысь,
Пусть впереди эти стены гнилые — одна,
и другая.
Может, каким-то ребятам поможет наш опыт
спастись,
Путь в неизвестность по нашим с тобою следам
пролагая.

2016

* * *

Глядит на нас. Думает: «Что за уроды.
Откуда в них эта жестокость тупая?
Ведь, в общем, не злобны они от природы.
Нет, право, другого я ждал урожая.

Какие здесь средства помогут, лекарства?
Как им воздавать по делам их и вере?
Такому хоть деньги давай, хоть полцарства —
Останется тем же рабом на галере.

Быть может, болезни и опыт страдания?..
Я пробовал — в массе своей неизменно.
Бессмысленно с первых минут мироздания
Ломать этих тварей чрез Божье колено.

Ведь малая часть — пусть от бедствий,
от мук ли
Своих и, конечно же, ближних, тем паче,
Очнулась сама, и в сердцах, точно угли,
Отныне их жгут. Так всегда — не иначе.

Не стоит к виску вороненое дуло... —
Ведь все отвечают не массой, а лично...»
Рывком что-то вроде того промелькнуло,
И я просыпаюсь на койке больничной.

2017

47 ронинов

Тогда я литрами пил сакэ,
Якшался с гейшами, жил в притоне.
Рукоять меча не сжимал в руке,
Пиво с утра плескалось в моем бидоне.

Книжки?... — нет, я не читаю книг:
Обычный ронин, тихий, как муха.
План мести тогда у меня возник,
Когда мой хозяин вспорол себе брюхо.

Я бдительность усыпил врага.
Он думал, встретив меня украдкой:
Вот он какой оказался... ага!.. —
Ронин, спившийся вдрызг, с походкою шаткой.

С ухмылкой шурился мне вослед —
Я ощущал липкий взгляд улитки.
Впрочем, мой враг стал большой домосед,
И посторонним не отпирал калитки,

Расставил по башням снайперц,
Укрепил замок мощной охраной...
При встрече глаза опускал я ниц,
Питался только пивом, сакэ и праной.

Гейши? — затем они и нужны,
Чтобы со слов моих повторяли,
Что с одной... да и любой стороны:
Дело во мне — хлипком людском матерьяле.

Чтобы твердили на всех углах,
Одно повторяя — слово в слово:
Хозяин ронина распался в прах,
Нету его ни мертвого, ни живого.

Слухи дойдут до вражьих ушей,
И вот — презрительная гримаса...
Все, чтобы мысль прогонял он взащей,
Что 47 ронинов ждут еще часа.

2017

* * *

Я помню, мгновенно прозрели
Все разом... лет 30 назад,
Со стоном дивясь: «Неужели?
И этот?.. И этот был гад?
А этот?.. Ах, даже и этот?..
И этот виновен стократ?..»
Какой упоительный метод
Повлек столь лихой результат?
И как они не замечали
Кровавых таких упырей?
А жили... не знали печали,
Не видя забитых дверей,
Ведущих не к истине даже —
На здравого смысла пути...
И мы никому не расскажем
Про цену прозрений... Прости.

2018

* * *

Ты кастрировал кота,
И теперь вся жизнь не та:
Есть проблемы в смысле секса...
О, святая простота!

Это карма: тук-тук-тук...
Что наделал ты, дундук?
Ты с ноля, как ни старайся,
Не завертишь жизни круг.

Тут не выбьешь клином клин.
Разгоняй, чем хочешь, сплин.
Но обратно не приставишь —
Вот и мучайся, кретин.

Ты глядишь коту в глаза.
В них, что хочешь, — не слеза.
Назови, что там ты видишь?..
Типа — Божия гроза.

Вкрут тебя разбился мир,
Был Эдем, а стал сортир.
За спиной все время слышишь
Звон нацеленных секир.

Ты — как рухнул в пустоту.
Что твердишь: богов я чту?
Может быть, себе отрезать?
Только, что с того коту?

Что наделал ты, слепец?
Есть один у всех Творец.
И судьба на мягких лапках
Говорит: тебе... конец.

2018

На смерть Вильгельма III Оранского, короля Англии

Выпьем за кротиков тайно,
В бархатных их пиджачках.
Лошадь споткнулась случайно —
Царственный падает... Ах!

Ах!.. И с вершины карьеры...
 Божьих уловок не счеть.
 Пэры и прочие сэры —
 Счета сиятельным несть.

Тайно: рискованно крайне
 Смерть восхвалять королей.
 Так что советую: втайне
 Выпей и снова налей.

В сушу въедается море,
 Нам-то что по лбу, что в лоб.
 Спорят пусть виги и тори —
 Кротики роют подкоп.

Вот показалось, бородку
 Схватит Всевышнему он...
 Кротика вспомним под водку,
 Ром, коньячок, самогон.

Кротика вспомним, лошадку,
 Божью игру... благодать.
 Что ты заносишь в тетрадку?
 Тщишься ты что разгадать?

Тайные эти узоры?
 С правдой сплетается ложь.
 В почве — кротовые норы,
 В Метагалактике — тож.

2019

* * *

Электрон — он, известно, бесконечен, как атом.
 Тут Ильич ошибался... чуть-чуть... слегка...
 Я все чаще хочу изъясняться матом,
 Ощущая величие русского языка.

Электрон исчерпаем, нефть уходит из скважин,
 Потеплело уж так — прошибает пот.
 Но на все эти беды пиндосам скажем:
 Мы, пиндосы, вас так уж и этак... и эдак вот.

Веря в спасение, точно в полис ОСАГО,
 И в эфир мировой, и в телеэфир,

Принимаю я, как великое благо,
 Что не звали меня Всеблагие на этот пир.

Есть всего один, который умнее всех росссов,
 Да он так одинок: побалакать с кем?
 У меня никаких нет к нему вопросов,
 Да и нет никаких подходящих по рангу тем.

Чем гордиться осталось? — Что не был ты в банде?
 Подвиг этот не храбростью объясним.
 Я, пожалуй, тоже поболтал бы с Ганди,
 Но — нет, не стал бы Махатма ни со мною, ни
 с ним.

2019

* * *

Надобно сердце иметь
 в жизни реальной стальное.
 Если про смерть позабыть,
 то пустяки остальное.
 ...Руки стальные иметь —
 даже не руки, а крылья,
 Чтоб над землею лететь,
 не прилагая усилъя.
 Даже не сердце... о, нет! —
 рвущую воздух машину,
 Чтоб покорять без проблем
 в мире любую вершину.
 Людям стальным не нужны
 пища, квартиры, наряды...
 Делать хотели из них
 танки, патроны, снаряды.
 В сердце стальном не взрастут
 гнева и ярости грозди.
 Был идеалом людским
 крепче других люди-гвозди.
 Пели об этой фигне
 люди простые когда-то...
 С жалостью к ним отнестись
 я попрошу вас, ребята.

2020

* * *

На месте Правителя
 запретил бы писать стихи,

А тем, кто не слушается,
ставил большую клизму,
Поскольку в стихах этих
столько всяческой чепухи,
Противостоящей
всякому тоталитаризму.

И рифмовать бы не разрешил,
даже в рекламе — нет!
Пусть, чтобы рифмовать
не надо быть вовсе пророком.
Поскольку порой сквозь рифмы
льется божественный свет.
Пусть и нечасто льется,
случайно и ненароком.

А это — и всякий почует —
противо-, блин!, стоит
Власти и Кесаря, и...
да, собственно, всякой власти.
Поскольку этот, пусть самый
ничтожный на вид пиит
Тревожит зачем-то народ —
жди от него напасти.

Да, рифмоплетов всяческих
известно б куда послал.
Ходит... бормочет... нудит...
думает, это работа.
Как бы он ни был собою
хил, слабосилен и мал,
Власти помеха земной...
Пишет и пишет чего-то.

2020

* * *

Находясь в режиме самоизоляции
И от заражения пока еще храним,
Вижу, как рушатся нефтяные акции,
И бестрепетно думаю: ну и фиг-то с ним.

Нет, прекрасно знаю: отольется каждому.
Да уже без разницы... гори оно в огне.
Но конца Вселенной, право же, не жажду я,
Просто что-то рухнуло не в мире, а во мне.

Как все обернулось... видно стало многое.
Давай — гляди и радуйся, старый дуралей,
Проникаясь долгой... дальнею дорогою...
Как все оказалось-то и проще, и светлей.

2020

* * *

Дерни меня за рукав, когда
Я причислю себя к Пастухам
(А такие бывают уроды).
Нет, не надо меня травить,
Коли власть предпочту стихам,
Если решу я пасти народы.

Дерни меня за рукав, спроси:
Да ты что — очумел в простоте?
Как они кончили все... придурки?
Но не сыпь мне в стакан стрихнин:
Помрут постепенно и так
Те, кто всерьез заигрались в жмурки.

Стыдно мне даже предположить,
Но вдруг... если такое со мной:
Начну о судьбах народов речи,
Оставь ты в покое стрихнин,
Ведь мучиться будешь виной...
Дерни меня за рукав покрепче.

Я, думаю, точно очнусь.
Стрихнин — это уж через край.
И — да пусть приберут его черти...
Ты напомни, что я говорил:
Меж стихиями не выбирай,
Если выбрал — будь верен до смерти.

2020

* * *

Может, и я в чем-то воин-шаман,
Тоже по-малой камлаю.
Библия мне не нужна и Коран,
Чтобы изгнать бесов стаю.

Что-то в стихах есть такое, чему
Нет объяснения простого.

Бесы не любят их швы, бахрому,
Ритм их и точное слово.

Чем-то пугает их тонкая нить
Строчек, натянутых смело.
Я попытался бы вам объяснить,
Если бы знал, в чем тут дело.

В общем, не знаю я, в чем тут секрет —
Сам я поэт не блестящий.
Видимо, все-таки чувствуют свет,
Не от меня исходящий.

* * *

К Нилу, Гангу... чертям собачьим...
Куда сбежать еще, сердце, вспомни.
С бесами, возможно, побачим,
Ну, а с вами говорить о чем мне?

Обговорено... Нет вопросов.
К гуннам что ли сбежать мне?.. готам?
Видел я этих верных россов,
За пятак продающих всех оптом.

Лучших шлющих в каменоломню,
Пропивших чохом и честь, и славу,
Из века в век, сколько я помню,
Берущих Прагу или Варшаву,

Гнущих шутки свои султану,
На Понт лелеющих свои виды...
Нет, перебирать я не стану
Бесконечные эти обиды.

Забудем... Оставим в покое
Длинный список претензий и страхов...
Где же найти место такое
Без москалей, жидов, хохлов, ляхов?

2020

2020

Валерий Самуилович Скобло — поэт, прозаик, публицист. Родился в Ленинграде в 1947 г. Окончил матем ЛГУ. Научные труды в области прикладной математики, радиофизики, оптики. Сборники стихов

«Взгляд в темноту», «Записки вашего современника», «О воде и воле», «За тайной печатью». Член Союза писателей Санкт-Петербурга (с 1993). Стихи, проза, публицистика публиковались в российской и зарубежной (Англия, Беларусь, Болгария, Германия, Дания, Израиль, Ирландия, Канада, Казахстан, США, Украина, Финляндия, Франция, Эстония) периодике. Публикации в журналах: «Арион», «День и ночь», «Звезда», «Зеркало», «Зинзивер», «Иерусалимский журнал», «Интерпоэзия», «Крещатик», «Нева», «Новая Юность», «Новый берег», «Новый Журнал», «Новый мир», «Сибирские огни», «Слово/Word», «Урал», «Ното Legens», билингве «Антология русской поэзии начала XXI века» (УМСА-Press). Лауреат премии им. Анны Ахматовой (М., 2012), финалист международных конкурсов стихотворного перевода «С севера на восток» (Хельсинки, 2013, 2016), дипломант литературной премии им. А. А. Ахматовой (СПб, 2015), 4-е место читательского рейтинга Журнального Зала за 2019 г., шорт-лист международной премии им. Э. Хемингуэя (Торонто, 2019). Место проживания — Санкт-Петербург.

Наталья Кравченко

ЭТО ЛАСКА ВСЕЛЕНСКАЯ, А НЕ ТОСКА...

Это ласка вселенская, а не тоска,
это грёзы и сны, а не грусть.
Мальчик-с-пальчик по камушкам дом отыскал.
Я по звёздам к тебе доберусь.

Я увижу тебя и тебя обниму
в этом млечном сердечном тепле.
И увижу, быть может, сквозь вечную тьму,
что не видела здесь на земле.

Это будет со мною, не может не быть,
пусть ещё через тысячи лет.
А пока я тебя продолжаю любить
и ловить каждый лучик и след.

Каждый детскою сказкой по жизни ведом,
эту даль ощущая как близь,

где нас ждёт поднебесный несбыточный дом,
где любимые нас заждались.

Множится прожитых лет поголовье,
им не забиться, не слиться.
Цифры окрашены собственной кровью
и проступают на лицах.
Да и поэзия вовсе не праздник,
не мелодичная читка.
Если писать — то как в ночь перед казнью,
выдав секреты под пыткой.
Только любовь мотыльком легкокрылым
в воздухе летнем порхает
и улыбается сумрачным рылам,
ластится, нежит, кохает.
И нипочём ей ни годы, ни смерти...
Реет над грузом былого,
в клюве неся драгоценный конвертик,
где три заветные слова.

Живу, сама себе не рада,
не отличая ночь от дня.
И только ты, моя утрата,
роднее друга или брата
с годами стала для меня.

Доносят шёпот твой деревья...
Но где тот призрачный причал?
Однажды отворила дверь я —
какой-то нотою доверья
мне чей-то голос прозвучал.

Того уж нет, и те далече...
Не всё нам нужно понимать.
Не говорить, что время лечит,
а просто руки класть на плечи,
а просто молча обнимать.

Люблю я эти пасмурные дни
за то, что так нерадостны они,
за то, что ничего не обещают —

ни солнышка, ни ласки, ни весны,
за то, что с нами так они честны
и лень нам снисходительно прощают.
Ну здравствуй, хмурый серенький денёк!
Присяду на тебя как на пенёк
и отдохну от бега и прогулок.
А ты, не обманя и не маня,
свернись клубочком в доме у меня,
найдя там поуютней закоулок.
Себя на домоседство обреку
и вспомню Саши Чёрного строку:
«Ну сколько вас ещё осталось, мерзких?»
Все проживу!» И этот тусклый день,
любя его застенчивую тень,
его туман и слабый свет нерезкий...
Спасибо, день, что ты хотя бы есть,
что позволяешь быть такой как есть,
что можно пред тобой не притворяться,
как тот, кто так же хмур и одинок,
кого хотелось взять бы в свой денёк,
и сбросить с сердца маску и наряд свой.

Весна, что делать мне с тобой?
Ходить, ходить без всякой цели,
смотреться в купол голубой,
души не чая в птичьей трели.
Без сил, без смысла, как во сне,
вобрать всё, без чего нищаешь...
И что с того, что лично мне
ты ничего не обещаешь.
Но даже в миг, когда блесна
подденет жизнь мою за жабры,
я и тогда, моя весна,
в тебя впиваться буду жадно.
Без хлеба неба не прожить,
как и без солнца каравая,
и мне над ними воровать,
на этом свете убывая.
Задача сердцу внушена:
прожить весну как таковую,
что в лужах нам отражена,
любую, грязную, живую,

все укромные закутки,
и несбывшиеся прогулки,
и засушенные цветки,
недоученные уроки,
недовымершие друзья,
и надежд неизжитых крохи,
и все мысли о чём нельзя...
Чтоб осталась душа, пустуя,
без сиянья бесслёзных глаз -
всё под корень, под нож, вчистую -
обнуленье, грабёж, коллапс.
На границе души и тела -
беспощадное: хенде хох!
Мало ли чего ты хотела.
Мало ли чего хочет Бог.

Молчанье Бога на моё алло,
молчанье сердца, ставшего мало,
мир, потерявший слово, что вначале,
гол как сокол, как осень без листвы,
зима без снега, речка без плотвы,
бесслёзный плач, молитва без печали.
Молчанье рыб, воды набравших в рот,
молчанье, что внутри наоборот,
как крик у обезумевшего Мунка,
глас вопиющих в мировой дыре,
и даже рак не свистнет на горе,
поскольку бессловесна эта мука.
Молчанье от простого как му-му,
которое я запросто пойму,
уютное и тёплое как в норке,
до высшего, что райское гнездо,
звучащее высокой нотой до -
силентиум от Тютчева и Лорки.
Пусть радость — это будущая грусть,
и так хрупка, что только тронешь — хрусть!
но пусть хотя бы по сердцу погладит...
Но ты же не Молчалин, а молчун...
Я воду в ступе истово толчу
и вилами пишу на водной глади.
А ты не слышишь, как тебя люблю,
стихами торможу и тереблю

как ватую заложенную душу.
Молчат слова за вечность до весны,
их мучат летаргические сны,
кошмары их увиденные душат.
Но в них тебе постигнуть не дано
двойное заколдованное дно,
тебе видна лишь только оболочка.
Царевна не жива и не мертва,
пробудят ли сакральные слова?
Смертельная по сути проволочка.
А дальше то молчание ягнят,
о коем будет фильм однажды снят,
а дальше — тишина, как у Шекспира...
И не поможет никакой айкью,
когда стоишь у бездны на краю,
где поразит безмолвия рапира.
Не думать больше, быть или убить,
тебя по умолчанию любить,
да, мир богат и с каждым часом краше,
но всех сильнее будет меж людьми
единственная капелька любви,
молчанья переполнившая чашу.

И не понять, свои беды итожа,
как мог чужой стать ближайших дороже?
Нас разделяет как пропасть лишь шаг.
Но моего ты не просишь участия...
Как ты обходишься в жизни без счастья?
Без моей жизни обходишься как?
Я из окошка гляжу на дорогу.
Вдруг ты пришёл и уже у порога?
Кроме тебя мне не нужно гостей.
Всё, что вещают — хотела б забыть я,
кроме твоих драгоценных событий
я не хочу никаких новостей.
Разные судьбы и разные будни...
Я у себя буду спать до полудня,
ну а тебе собираться к восьми...
Жду тебя вечно как с фронта солдата.
Помнишь, у Чехова: если когда-то
жизнь моя будет... приди и возьми...

Куда уместней было б умереть,
 чем от твоих объятий обмереть,
 когда осталось жизни уж на треть,
 когда по волосам уже не плачут.
 Но снова о весне кричат грачи,
 и сердцу не прикажешь: замолчи,
 хоть нежность обречённая горчит,
 и что с того, что я грешна иначе.

Да, я странна, но это мне идёт.
 А кто не странен? Только идиот.
 Нормальных нет, — сказал Чеширский кот,
 и это было, в сущности, нормально.
 Да, я стара, но ведь любовь старей,
 старее всех церквей и алтарей...
 Твоё лицо при свете фонарей...
 И счастье было, кажется, в кармане.

Хотя я до сих пор не поняла,
 что это было — глаз ли пелена,
 или душа и впрямь опалена
 божественным огнём из преисподней.
 Что это было — прихоть и каприз,
 или небес таинственный сюрприз,
 и я кружусь с тобой под вальс-каприз,
 и всё уже исполнится сегодня.

Пусть всё пройдёт, развеется как дым,
 забвением покроется седым,
 пусть обглодает жизнь меня как липку,
 а я иду по нашему мосту,
 где ожидала, чуя за версту
 твои шаги и слабую улыбку.
 Я из неясных линий и штрихов,
 из слёз и недописанных стихов,
 твоей судьбе и жизни не помеха.
 Порежу душу всю на лоскутки,
 на носовые для тебя платки,
 но не для плача только, а для смеха.
 Мне всё равно, что скажет мир честной,
 я истине не верю прописной,
 забыты все законы и приличья,
 остался только этот лес лесной,

осталось лишь осеннее весной,
 осталось только солнышко и птичье.

Ты пришёл на минутку ко мне навсегда,
 снег расчистил в душе, растопил ото льда,
 чтобы больше не ведала злого.
 Как угодно пусть душу мою искорёжь —
 но теперь никуда от меня не умрёшь,
 я узнала волшебное слово.

Ты во мне прорастаешь как тихий цветок,
 моей жизни застенчивый новый виток
 в одинокой безгласной пустыне.
 Я с балкона смотрю тебе истово вслед,
 сколько б мимо холодных ни минуло лет,
 этот взгляд никогда не остынет.

Я на ветер слова, ну а ты их лови,
 все они о незамысловатой любви,
 невесомой, туманной и зыбкой,
 что порой проступает сквозь сумрачный день,
 за тобою скользя неотступно как тень,
 пробавляясь одной лишь улыбкой.

Не задаёт вопросов
 истинная любовь.
 День её нежно-розов,
 вечер её лилов.

В лиственном вальсе кружит,
 в золоте фонари...
 Ты не ищи снаружи,
 это живёт внутри.

Не убоясь морозов,
 свой излучает свет.
 Не задаёт вопросов,
 ибо не ждёт ответ.

Спрашивает ли солнце
 у поднебесных тел,
 может, кому-то жжётся,
 может, кто не хотел?

Спрашивает ли дождик
в знойный весенний день,
не напоить ли позже,
или убраться в тень?

Нет, изливают щедро
струи свои, лучи.
Так подставляй же недра,
радуйся и молчи.

Благодаря любви
зрячи и не немые,
мы оживаем в слове,
выхвачены из тьмы.

И бесполезно рваться,
биться в крови зари...
Эта дверь открываться
может лишь изнутри.

Мы с тобой — два берега, как в песне.
Но река-то всё-таки одна.
Может быть, так даже интересней -
если нет исчерпанности дна.
Счастье — это правило и норма,
но порою — непривычно всё ж -
может принимать такие формы,
что его не сразу узнаёшь.
Облако, меняющее облик...
Дерево, обнявшее балкон...
Их природный немудрящий опыт
сердцу сообщает свой закон.
Может, это фейерверк на торте,
или разноцветный колпачок,
иль улыбка у кота на морде,
или сердца пламенный лайчок.

Мне не фиолетово,
не до фонаря...
Знаю, что не следовало.
Верю, что не зря.

Вижу словно в рамочке
всё, что утекло...
Нет, мне не до лампочки.
На душе тепло.

Мне не фиолетово,
мне не хоть бы хны.
Видимо, поэтому
ты приходишь в сны...

И порхают бабочки
в сердце до зари...
И летят на лампочки
и на фонари.

Обжигаясь, падают
под ноги толпе,
но хоть миг, а радуют
песней о тебе.

Завелась небесная шарманка,
музыка неслышимая сфер...
Я клюю на сладкую приманку,
и уже не страшен Люцифер.
Сердце напоив целебной мутью,
став неуязвимою для жал...
Но затихла жизнь на перепутье,
словно кто на паузу нажал.
И простыми в сущности вещами
отрезвляет дождика петит...
Старость от любви не защищает,
а любовь — от смерти защитит.

Наталья Кравченко, родилась и живёт в Саратове. Филолог, член Союза журналистов, работала корреспондентом ГТРК, социологом, редактором частного издательства. Читает публичные лекции о поэзии разных стран и эпох. Автор 18 книг стихов, литературных эссе и критических статей. Публиковалась в журналах и литературных альманахах «Саратов литературный», «Эдита», «Русское литературное эхо», «Сура», «RELGA», «Артикль», «Фабрика литературы», «45-я параллель», «Семь искусств», «Нева», «Золотое руно», «Гостиная», «Подлинник».

«День и ночь», «Южное сияние», «Зарубежные Задворки», «Бумжур», «Слово/Word», «Твоя глава», «Сова», «Южный остров», «Великороссь», «Топос», «Камертон» и других. Лауреат 13-го Международного конкурса поэзии «Пушкинская лира» (Нью-Йорк, 2 место). Лауреат Международных поэтических конкурсов «Серебряный стрелец», «Цветаяевская осень», «45 калибр», «Эмигрантская лира-2013/2014» (номинация «Неоставленная страна»), конкурса имени Игоря Царёва «Пятая стихия», конкурса имени Дюка де Ришелье (Серебряный Дюк), международного конкурса «Серебряный голубь России 2016» (Санкт-Петербург, 4 премия), финалист и дипломант межобластного конкурса поэзии «Чем жива душа...» (Ярославль, 2016), международного литературного конкурса «Родной дом» (Минск, 2016), лауреат литературной премии «Свой вариант» (Луганск, 2016).

Вадим Горинов

СТИХИ 2020 года (начало в № 110)

22.
Сумерки. Шесть.
Ну, куда мы пойдём.
Позакрывались
Все двери, где ждут нас.
Видишь: темнеет,
И — холодно жутко.
Жмёмся друг к другу:
Согреться вдвоём.
Время выходит тихонько за дверь
Нашего дома.
На крышу, и — выше.
Раньше нам не было страшно —
Теперь
Поздно бояться: почти уже вышло.
Корчатся листья, ложась на покой.
Ветки деревьев во сне коченеют.
Всё это кончится
Долгой зимой.
Снежным порталом —
По белой аллее.

23.
Виолончель вступает.
Что я знаю
О музыке.
Вообще она — зачем.
Но — звуки-ноты
На бумаге тают.
И чувствую: Она — Виолончель.
И — тут же — скрипки —
Стаей птиц — на взлёте.
Зачем мне это.
Но я слышу их.
И как вы все без этого живёте.
Звук задрожал и отразился в стих.
И вот литавры — вдрызг.
Тромбон поможет
Поднять до звёзд божественные брызги.
Не зря смычки в экстазе струны грызли:
Родился он — на реквием похожий.

24.
В час, когда вознесусь над сонными —
Пусть во след мне не слёзы — смех.
Окунусь с головой в высокое
И закутаюсь в белый мех
Облаков.
Навсегда откорчиться
На земле:
Пусть себе вращается.
И дрожать на пороге Творчества,
Подбирая ключи к звучанию.
Инструменты — вода и ветер,
Птичье пенье, роса в полях.
Ими буду на этом свете
Рисовать расставанье я.
И задует со всею силой,
И прикажет листве кружить.
И воскликните: как красиво!
Это я продолжаю жить.

25.
Вот яблоки из собственного сада.
Морозом тронутые. Общая печаль.
Здесь, умирая, мне уже не рады.
Не выбегают — листьями встречать.

Пустая комната оставлена на милость
Метелям. И поставлена печать:
Не трогать до весны.
Мне здесь приснилась
Шальная лялочка, упавшая с плеча.

26.

Чуть попозже выйдет солнце.
Заласкает, зацелует.
И прогонит тучу злую.
Чуть попозже, чуть попозже.
Сердце ночью в темень воет.
Гонит, корчится: изыди!
Хоть не верится порою —
Солнце выйдет, солнце выйдет.
Манят сладкие объятья:
Что хотел узнать — узнаешь.
Как молитва, как залятье:
Солнце выйдет — не обманешь.
Шарит ночь, меня не видя,
Лапой черною огромной.
Солнце выйдет, солнце выйдет.
Есть оно: я точно помню.
До рассвета — вдохов — сколько?
Солнце выйдет и поможет.
Стрелки каплют — в темя: только
Чуть попозже, чуть попозже.

27.

В осень вступаю весело.
Прямо в листву упругую.
В тайную многопесенность
Вместе с моей подругой.
Наголо — ветру бреющему —
Роща сдалась, намаявшись.
Так себе — смерти зрелище.
А впереди зима ещё.
И — ощущение вечности.
Времени — бег по кругу.
Вечера зыбкой млечности.
Руку — моя подруга!
Небо — глазами белыми.
Роща — стволами — тушью.
В осень вступаю смело я,
Радостно до удушья.

Сколько ж во мне беспечности:
Слово — поднять и бросить.
Это всего лишь осень.
И ощущение вечности.

28.

Ноябрь — куда деваться —
Дыханьем зимы подул.
Счастливо вам оставаться,
А я — шепотной — пойду.
Пока ещё ноги ходят —
Шажок, и ещё шажок.
Такое простое в роде:
Стежок за стежком —
Стишок — за стишком
Плетется, дрожит паутинкой жизнь.
А встретиться не придётся —
Не стоит о том тужить.
Потёрлись в тепле — и ладно.
Спасибо судьбе на том.
А там — на озноб — прохлада.
А там — за закатом — дом.
А там — за порогом: ждут ли?
Напомню, когда приду.
И холод, и ветер жуткий:
Ноябрь зимой подул.

29.

Я ревную тебя. Рука
Тихо спит на моём плече.
Я ревную тебя к звонкам
И к фейсбучью твоих ночей.
Я ревную тебя к штрихам,
Что — покорные — под пером.
Я ревную к твоим стихам,
К странновзвучью твоих миров.
Яркость улиц, мельканье лиц.
Под ногами — витринный свет.
Сколько их — без тебя — страниц
Пролистал, сколько глупых лет.
И — привычное: отпустить
И укрыться в своей норе.
Остаётся во мне, прости,
Одинокий усталый зверь.
Но — рука на моём плече,

И волос непослушных смоль.
И куда-то уходит боль,
Не дождавшись в ночи врачей.

30.

Вот так: всего лишь отодвинуть
И рассмотреть за тенью даль.
Туда — где прячется вода
Уйти босым — не значит согнуться.
На шелк листвы, на щебет птиц,
На свет, на зов, что намагничен.
Где — звуки, краски вместо лиц,
Где осень догорает спичкой —
Пойдём со мной. Возьми кота.
Нас в новом мире будет трое.
И мы себе ковчег построим
И отплывем с тобой туда.

31.

Ты тоже уходишь смотреть в небеса.
В тетрадную снежность.
И мечется ветер в твоих волосах.
Шумит побережье.
Ты тоже ласкаешь ладонью — волны
Упругую кожу.
Ты тоже из сердца стучащие сны
Выплескивать можешь.
Ты видишь: кричавшая в нас пустота
Наполнилась нами.
Как, вверх оттолкнувшись, над лесом летать,
Ты знаешь.
Ты слышала: плоть в полнолуние звала
Истошно на помощь.
И нитью упругой — тянула, вела —
Ты помнишь —
Как было в ночи достучаться ко мне
Почти невозможно.
Я чудом продлился на этой земле.
Ты — тоже.

32.

Ты не спишь без меня, не веришь,
Что однажды: пора в дорогу.
И стоит на пороге зверь —
Что-то вроде Единорога.

И молчит: я пришёл за тобой.
И не надо грустить об этом.
Будет так: шелестит приборой
На краю, на исходе лета.
Ты не веришь, и ты молчишь.
Не тревожат тебя приметы.
По приборю (ты спи, малыш)
Я уйду на исходе лета.

33.

Недознание. Недоблизость.
Не дотронуться: ускользает.
Небо хмурит лицо капризно:
Не погладишь — пойдёт слезами.
Недозволенность: будет позже.
Недопонятость, и — чужие.
Недодрожье — коснувшись кожи.
Недолюбленность, недожитость.
Не докличешься — звать не нужно.
Не вернётся — хотя бы эхом.
И — рыдания — дробясь о лужи,
И — раскаты — по небу — смехом.

34.

Я любить лишь однажды пробовал.
Нет бы — жить глубоко и штительно.
Получилось — и впрямь — до гроба.
А мы думали — пошутили.
Всё весёлой игрой казалось.
Всё, казалось, простится детям.
Но: прощайтесь — прощанья зала.
Слово дав, за него ответили.
Губы до крови вновь сдирая,
Сердце вновь превращаю в печь я.
В это слово опять играю.
Знаю — чем за него отвечу.

35.

Зажечь пахучую свечу
И тихо тлеть — как будто с нею.
По жизни музыкой болею,
Но излечиться не хочу.
Свеча пахучая звучит.
В ней что-то есть от контрабаса.
Число какое-то стучит

В мозгу
И отдаётся красным.
Пережимает вены струн,
Чтоб, отпустив — стремглав по венам
Рванулся звук, сметая стены,
Меняя ход на небе — лун.
Вторгаясь варварским мечом
В порядок, сон, затишье, сытость.
В ресницах проступает сырость
И сердца ритм ведёт смычок.
Цунами пробуя сдержат
Внутри с отчаянной отвагой,
Последние щиты дрожат.
И — всё —
Рванулось на бумагу.
Свеча дурманит. Плавный дым
Окутал кухню.
— будешь чаю?
Но я уже не замечаю
Тебя.
Лишь птицы и сады.

36.
Мы сидим на берегу —
Ловим рыбу.
Удержаться не могу:
Сердце прыгает.
Нам с тобою так легко
И так весело.
— будешь кофе с молоком?
— слушай песенку.
Вроде, глупые слова.
Не поэзия.
Только — кругом голова.
В небо лесенка.
Глажу волосы рукой,
Глажу плечи:
Спи, хороший, милый мой
Человечек.

37.
Ты дома спишь.
Кругами бродит дождь.
На стенах — кошки, нюшки.
Почему-то

Жизнь продолжается.
Нужна она кому-то.
Тому, кто спит.
Тому, кто смотрит в дождь.
Совсем не малый повод
Дальше жить
Тому, кто смотрит в дождь
И кто лежит,
Свернувши одеяло в тёплый кокон.
А дождь всё бродит.
Смотрит к нам из окон.
Прощается:
Держитесь до весны.
И по асфальту отбивает дрожь.
Ты дома спишь, свернувшись.
Видишь сны.
А я всё помню.
Я смотрю на дождь.

38.
Ветер сладкий — мне в лицо.
Листьев радость плещется.
Всякое, в конце концов,
Может померещится.
Утро нежится в росе —
Томное, как женщина.
Мысли муторные все
Зарастают трещиной.
Яблок яркие шары —
Чем не новогодние!
Серость старостную смыл,
Смыл с себя сегодня я.
Облако плывёт конём,
Да над полем радуга.
Покататься бы на нём.
Большого не надо мне!
Кто придумал это — тот -
Тот, кто правит душами —
Ты возьми меня шутлом —
Звякать погремушками.
Из открытого окна —
Лучиком — по пальчикам.
Сонно жмурится она:
Думает, что зайчик я.
Если только разрешишь,

Если только можно мне —
 Пусть в предутреннюю тишь
 Думает, что дождик я.
 Ветром унеси меня.
 Ты же можешь, правда ведь.
 Чтоб — на облако-коня.
 С облака — на радугу.

39.

А декабрь совсем без снега.
 Интересно: а как — в Раю?
 И с утра посинело небо.
 Птицы так же у вас поют?
 Интересно: там есть будильник —
 На зарядку вставать пора!
 И — захочется если сильно —
 Можно выпить вина с утра?
 В этот год было много яблок.
 Много так — что девать их некуда.
 Знал бы адрес твой точный — я бы
 Отослал их тебе на небо.
 А скажи, ты вот так же слышишь,
 Как слова переходят в ноты?
 Снега нет на земле и крышах.
 Ты забыла перчатки. Вот они.

40.

Я только учусь. Понимаешь: не сразу.
 Шагами — наощупь — пружинящий наст.
 Чего мне бояться. Всё — видно. Разве —
 Как — об пол — наотмашь — осколками —
 нас
 Рассыплет. Но разве же это возможно.
 Тебя собираю и грею внутри.
 Смотри — как — над морем — рассвет —
 осторожно.
 Смотри — это мы с тобой — морем — смотри.

41.

Расхотелось рисовать
 Белое на белом.
 Полумертвые слова
 Исторгать из тела.
 Захотелось не звучать,

Шаркая подошвами.
 Не искать в ночи печаль,
 Не тревожить прошлое.
 Мирно — на моей груди —
 Спи: под небом — спальенка.
 И — воронам: не будить,
 Не тревожить маленьких.

42.

И ты — без меня,
 И я — дурачок —
 Сижу — ничего не хочется.
 И кошки приходят — они ни при чём —
 Что в пять — уже тьма полночная.
 И что-то играет в моей голове,
 Вдвухается, и — лопаётся.
 И страха не знает — во мне — человек,
 Что — раньше — подальше от пропасти.
 В раздолбанной кухне светло и тепло,
 И — спирт разведенный — грубо
 Ласкает кадык.
 Поцелуй меня в лоб,
 И — если возможно — в губы.
 А после — от слов уведи меня спать.
 Укрой под кошачью песенку.
 И пусть она кружится — мне наплевать —
 Весёлая — в небо — лесенка.

Вадим Горинов. Родился в Москве в 1963 году. Напечатал самиздатом 3 книжки стихов. Издавался в России, США, Германии.

Татьяна Ананич

ПОДНЯТЬ ПАРУСА — ОПУСТИТЬ ШТОРЫ

Весна в разгаре. Запах гари в окне.
 Письма, что уцелели, дошли не ко мне.
 Я тихо боль растворяю в вине.
 Я живу, не живя: все, как прежде.
 Не возводил алтарь на горе Ebal,
 с чужою женой не спал,

не стриг овец, не сдирал с них шкур...
 Я жил, как учил Эпикур, —
 незаметно. То бишь тебе незнаком
 был я, и потому тайком
 я слагаю тебе сейчас
 эту песню.

Жил-был художник один

1
 Я достаю из пыльных ножен
 обоюдоострый клинок одиночества.
 У таких, как я, даже отчества
 нет

2
 весь я не умру, душа!
 Любовь к тебе воскреснет.

3
 Меж двумя жерновами сердце штурмует
 клетку:
 буриданов осел.

4
 наскоро оброненное слово
 трезвит, как чай в граненом петрова-
 водкина и “пролетарский завтрак” карла,
 ювелира, с кораллами на миллион,
 миллион...

5
 Жил-был художник один. Жил бы себе да
 жил,
 но в старую церковь ходил на площади:
 циркачку там полюбил...

6
 Как без Вакха-Цереры без нашей Веры.
 Ушла Римлянка и вернуться не обещала.
 Гребешки святого Иакова. Кос каскады,
 черных. Кроваво-красной помады
 на рубахе следы. Свей из мочала
 песнь свою, златовласая дева Любовь!
 Гой еси! побронзовевшие друзья и я,
 ржавый, подпоём кто во что горазд...
 Как сказал французский епископ:
 тошнота тошнот.

“Трогай, лихач, говорю, в порт!”
 В карикатурной провинциальности
 ландшафт, покачиваются галеры:
 время плыть и время — за борт.

7
 Поднять паруса! Опустить шторы!

8
 Вот я — анемичный весьма персонаж.
 Вот вы — розовощекие отличники жизни.
 Чем трагичнее бытия коллаж,
 Тем комичней пляски на тризне.

9
 Два десятка бульварной желтухи
 почтальоном — о парапет.

10
 “Хороши лунные ночки?” — Нет,
 грю, писем.

11
 Ты ушла, и Музей Невинности
 разрастается чище, чем у Памука.
 Это сердце мое в “формалинности”, —
 точно мумию, потрошит разлука.

12
 Нет,
 весь я не умру, душа!
 Любовь к тебе воскреснет...

Возраст тот, что впору “не-мене-мати”.
 Где ты, юность, тяга к экзотике,
 перьевой выводившая готикой
 то романское amor fati?

2

Что ты, жизнь? какофония стонов
 половых, родовых, предсмертных,
 боя посуды свадебно-бракоразводного,
 плача, смеха, плевка, пощечины
 в две щеки, колокольных звонов.

3

Стиснув зубы, как тезка Седрах (Анания),
 вавилонский отрок, горю в двуречье,
 и когда б не поток ледяной сознания,
 то б взревел по-нечеловечьи.

4

Крутится-вертится веретено...
 В лабиринте парн`ой ночи
 обезнители ариадны, парки, тесей и прочие;
 обескрылен дедал; обезодрел эрос.

5

Время снялось с пространства, не сверясь
 ни с тобой ни со мной.

6

Постой...
 Где ты, юность?

7

Заблудившись в будничном мареве,
 слившись с воскресной толпой зевак,
 опахалами сальных путеводителей
 обезножен.

8

Дай мне точку опоры! —
 Я пытаюсь вспомнить свое отраженье
 в усталых твоих глазах:
 потерявшись однажды в тебе,
 я потерялся в себе — еще больше.

проводи же гостей к столу
 чтоб ни задней мысли в передней
 а ну его к свиным псам и окончен бал
 потерявший лицо под маской
 “И последние станут первыми”
 эго красно словцо
 раскулачное право, карл!
 Клара с деднеймингом Ка...
 О времена...! ты б покорректней, Полит Мат...
 отец русской демократии на ват-
 ных ногах
 “Дорогие адамы и господа!”
 лыко пьяное в патриархальных лаптях
 северянки в шампанском. пардон муа?
 эка поди полиглотка
 направо пойдешь — коня...
 без сучки но все ж с задоринкой
 ты б покорректней полит мат...
 “Дорогие адамы и господа!”
 и северянин в шампанском

Что наша жизнь?

1

Кинуть кости в Курхаусе пока не сыграл
 в ящик.

2

Неудачный дерюжный образчик
 наших ситцевых нравов. Но все с иголки.
 “Домострой” на тесаной полочке.
 И о нем ни “му-му” ни в Отцах ни в Детях.
 Nihil над всем! Никто не в ответе:
 напросился, паскуда, — живи!
 Господь Бог не играет, а мы —

пожалуйста, —

кто на камеру, кто в рулетку, кто — в аиста.
 (Парамоша, где твой былой азарт?)

3

“Вину коей страны вы предпочитаете
 в это время дня?” — Мне чаю! Ти-
 хо! (Бог, пронеси соотчицей.
 А не то закончу “ничьей”).

4

Иван Дмитрич Громов среди ясного моего
 ума!

Обитатель шестого — куда ни глянь —
 континента.

Какими судьбами, голубчик? Зима...
 (Под белы рученьки “пациента”).

5

Изнанка культуры, вывернутая на лицо.
 Вышедшая не из моды — строя.
 “Вам к лицу это клетчатое пальтецо
 свободного покроя.”

6

Богу — Богово, кесарю — кесарево,
 а гурту — гурт.

Говорил Создатель не вкушать от древа!
 Первопричина — краеугольный абсурд,
 как с пупками Адам и Ева.

7

Что наша жизнь? Каратаевщина — вот! —
 львиная доля ее... — так говорил папа
 римской литературы, стоик тот. “Идиот!
 Он блефует. Рыба! О-ё! Растяпа...”

8

Вчера меня вез наш земляк-таксист.
 Ей-богу, мокиевич — как его?! — кифа:
 его “красный” словарь, забубенный свист
 мне накапали в два тарифа.

9

Патриотизм квасной на дрожжах...

10

“Но-но-но! Не кропи, школота!”
 Своя рубашечка — все ж ближе к телу.
 “Ставки! Ставки делаем, господа.”
 “Ну, выкладывай. Ближе к делу.”

11

Так вот, мы с Серегой позавчера...
 “Ходи сюда, аккордеонист с ‘Катюшей.’”
 “Что наша жизнь, говоришь, — икра?”
 “Кушай. Фотографируй. Кушай.”

12

“Я гляжу, ты разгорячился чуток.”
 Что там про это “первопричинство”?

13

Скромная истина: нищета —
 “Но-но-но! Не кропи, школота!” —
 не порок, но большое свинство.

14

Акакию Акакиевичу — слушай — акафист:
 “Маленькому сему человеке...”
 Пиши, славист, говорю, покамест
 в меня вдыхаются эти речи.

Ананич Татьяна Анатольевна родилась 13 ноября 1985 года в г. Смоленске. В 2008 году окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт. В 2012 году эмигрировала в США. Окончила школу актерского мастерства имени Стеллы Адлер в Лос-Анджелесе. Автор сборника стихотворений «АнтиУтопия». Лауреат Всемирного поэтического фестиваля «Эмигрантская Ли́ра» и одноименного журнала (2017). Публикации в журналах «Слово\Word», «Новый Журнал», «Эмигрантская Ли́ра», «Интерпоэзия», «Вестник Пушкинского общества Америки». В настоящее время учится в магистратуре Тель-Авивского университета, профиль «Археология».

Дмитрий Близнюк

В ШКУРЕ ЛЬВА

нет, он не умер. не выписался.
 не спился.
 просто уехал в потустороннюю Канаду,
 устроился лесником в Огарко.
 это неумное дикое желание забыться,
 измениться,
 сбежать и снова найти себя.
 одни мускулы и медленная ярость.
 и хвойные леса.
 темно-зеленые иглистые драконы стоят
 стоямя
 со сросшимися — перепонки воздуха —
 треугольными крыльями.
 не пройти, не прорваться.
 а по краю развязной от грязи дороги бродят
 лоси —
 чуткие существа цвета грецкого ореха.
 губастые, глазастые — брезгливо, сердито
 смотрят на него
 и идут дальше —
 живые пятна роршаха-леса.
 а за спиной — ниже, вдоль клинка
 рассеченной реки —
 разматывается присосками утыканная
 пнями вырубка —
 его прожитая жизнь.
 все, что осталось от четвертованных дней,
 распиленных поперек времени.
 свежее белое горло стволов.
 а цепная пила, ручная пиранья, поет: эй,
 подтяни меня,
 напои из масленки.
 тяжелый физический труд
 выгоняет всю трусость и накипь
 невыработанного таланта
 вместе с потом.
 он чувствует себя Львом Толстым,
 только без написанной войны и мира.

ночью, сломанный бессонницей, как спичка,
он выходит в лунное поле...

смолистый аромат. его можно вымять из
воздуха,
как пыльцу пчелиного воска.
и куртка цвета хаки покрылась смолой —
сваленные сосны шепчут шелкопрядами
ветвей:

ты такой же, как мы,
тебе некуда больше расти.
тебе не спрятаться за бородой.
вселенная найдет тебя и здесь и спросит —
почему не рос?
взыщет
за каждый бездарно прожитый день и час.
годы-единороги, которые ты застрелил
ради драгоценной кости, прихоти.
она выдавит тебя,
как гюрзу, из грозы —
дергающаяся белая палка-молния,
точно канат в школьном спортзале — давай
полезай.
и ты пьешь кофе из термоса и слушаешь, как
черный дрозд в ветвях продирает горло,
поет, резко елозит
наканифоленным смычком
по синему пенопласту воздуха.
как же здесь хорошо... и нечто —
ребенок-ленивец внутри —
упирается
маленькими ступнями в потолок,
как письмо в бутылке — в горлышко.
но не выдавить эту пробку, эту хвойную
тишину.
дальше некуда расти — ты в море
застывшего бетона.
а корабль сгнил...
неужели это так?

У входа в женскую душевую

тощая костлявая красавица
с чуть рыбьим лицом — намек на
прабабушку-русалку,

прозрачные голубые глаза.
тот случай, когда красота на грани провала,
обаятельного уродства, и в этом вся прелесть
женщины —
дикий виноградник на краю пропасти,
корни, пробив грунт, торчат в воздухе, как яст
ребиные лапы,
и хочется сорвать эти ягоды
между небом и обрывом.
призрак синей лисицы. ягоды, прозрачные от
солнца.

и ее прохладные глаза,
как плитка в бассейне у входа в женскую
душевую.
смотришь ей в глаза — приложил
раскаленный утюг
к зеркалу. вот этот звук.
вот она,
сила странной красоты.
кристаллы лопаются, как капилляры.
и ты
выделяешь наглость, адреналин, гормон
глупости. идешь вперед.
ломишься, как полено в костер Жанны д'Арк,
а потом наступает она — горизонтальная
пропасть женщины — мягкая и болючая.
и поцелуи — как хрящи
русалочьих пальцев,
которые обсасываешь в китайском
ресторане —
босиком сидишь на корточках у самой кромки
цунами, остановившегося, как локомотив.

это любовь, детка.
это любовь без любви.
это жуки судьбы проползли
сотни метров по трассе под бешеным ливнем.
и нашли друг друга.

Горят локоны

девочка со взглядом волчицы.
полиэтиленовые сумки в ногах.
замерла, синеглазый взрыв детства,
возле семейной общаги.

толкает взглядом, как палкой: дядя, проходи.
 взгляд злой
 и неземной.
 обиженное создание, созвездие — забыли
 назвать,
 позвать на вечеринку знаков зодиака.
 цунами в колбе — ее глаза.
 уперлась метровыми толщами синих вод
 в прочные стеклышки.
 но мир не пускает.

обидные прозвища. практически нищета.
 тараканы кусают спящих принцесс
 за ресницы.

мир ей только снится,
 проносится восьмипалубным
 крейсером-кошмаром.

а она — крошка,
 колючая крошка с уст иванушки-дурачка.
 и что же счастье?

заглушка для сознания.
 так осу закрывают в пустой бутылочке
 пепси. счастье...

танец пьяного на корабле
 вот-вот выпадет за борт. ничего не вспомнит
 к утру.

и нет у нее крутого/приличного
 мобильника,
 чтобы уйти в зазеркалье для дылд,
 ко всем этим эльфам, барбям, гаррипотерам
 и котам.

детям и взрослым, посаженным на мягкий
 ошейник цифры.

она же — полынь, усыпанная клещами.
 торчит в ситце и сланцах у всех на виду.
 сторожит сумки матери. небо мутное
 и широкое, как скатерть, в жирных пятнах
 облаков,

и вокруг разбросаны
 миллиарды мелких камней-людей.
 и каждый впивается в спину и лицо
 острой отвернутостью.
 замарашка. голытьба.
 девочка-цунами, однажды ты

вырастешь
 из прекрасного утенка в гадкого лебедя,
 психанешь и сметешь к чертям
 весь этот модный надменный мир.
 маленький отверженный дьявол
 сидит в надувной лодке и машет веслами.
 горят локоны. и я
 прячу глаза. обжигаюсь о ярость.
 я камень, я камень... не хороший,
 не плохой —
 один из миллиардов чужих миров.
 повернут спиной, свернут, как рубероид.
 крестьянин
 с маской тигра на затылке.

2021

Дмитрий Близнюк, поэт, литератор. Публикации: «Знамя», «Нева», «Новая Юность», «Сибирские Огни», «Крещатик» «Радуга», «Плавучий Мост», «Невский альманах» и др. Публикации на английском: "Poet Lore", "The Pinch", "Dream Catcher", "Magma" "Grub Street", "Salamander", "Willow Springs и др. Лауреат нескольких международных конкурсов. Член PEN America. Книги стихов «Сад брошенных женщин» 2018, «Утро глухонемых» 2018, «Снегопад в стиле модерн» 2020, «Моментальное фото» 2020. Сборник стихов на английском «The Red Forest» 2018 («Fowlproh press», Canada). Живёт в Харькове, Украина.

Евгений Терновский

Оскорбленный Тиран*

Он знает, что он огромен, уродлив, ряб,
 что краше него любой иллирийский раб
 (но эта раса — известно всем!– груба
 и дурна)

и шея, увы, не его голове дана,

* Имеется в виду Марк Аврелий Максимиан, по прозвищу Геркулий (Геркулес, 250–310), римский император, первый из варваров готского происхождения, достигший трона римской империи. Отличался гигантской силой, огромным ростом (более 2-х метров) и легендарной жестокостью. Одержал значительные воинские победы; после восстания его сына Максенция кончил жизнь самоубийством в Массалии (Марсель). Молва приписывала ему изобретение казней, как, например, потопление

не лелею память и не храню
ни осколки жизни, ни окаменелости.

Но я чту певцов, что бывали лиш –
ними, и тех, кто до воли не дожил.
...от эс- эс- эс- р сохранились лишь
арестант и праведник, поэт и художник.

2001

Евгений Терновский — поэт, прозаик, литературовед. Учился в Московском ИнЯз'е (1960–61), работал грузчиком, санитаром, библиотекарем, переводчиком с романских языков. Эмигрировал в 1974, работал в ж-ле «Континент», газете «Русская Мысль». Преподавал в Кёльнском ун-те, в Лилльском ун-те, в 1985 получил степень доктора философии. Автор нескольких романов, в том числе на французском языке, а также исследования «Pouchkine et la tribu Gontcharoff».

Александр Апуш

Стал беречь себя, будто
Китайский сосуд
Неизвестной династии,
Разобьется — на счастье.
Но лишь не сейчас и не тут.

Не сосуд, а Харон я —
Хранить не сумел — так схрони,
Плоскодонь береги свой
До берега оного,
А потом — фанфаронь
И фарфоры круши обо пни,
Где Вы истинно — поняли.
Объясни...

Похрани меня немного,
Ненадолго, до угла,
Вот, сложу тебе в дорогу,
Что забыла, не взяла.

Вот, присядем на дорожку,
Навсегда, или на срок?

Я мороженой морошки
Положу тебе в кулек.

Помолчим, без сует-верий,
Вспоминая годы, дни...
Похрани меня до двери,
А потом — похорони.

По дороге «Знать не знаю»
Из обратно — в никуда
В месяц АДАР — зелья злая,
Чтобы душу оправдать.

А потом в Аду, как в каше,
Как в сугробе за стекло.
Дьявол — умный. Он расскажет
Сказки про добро и зло.

4 Апреля 2021

Пять месяцев подлости, пропасти,
сброса,
Ни страха, ни совести — всё
по-колесам.

Коровой кошерной на крюк насобачен,
Пещерные вои зовут они плачем.
И вои, и лаи, и мерзкие мрази,
Нам всё по-трамваю,
На крайней — вылазим.

Хорошо быть гоголь-моголь,
А точней, бобыль-с-баблом,
Знай-гуляй любой дорогой,
Не заботясь ни о ком.

Без оглядки на расплаты,
На обманы «щас приду»,
При до точки невозврата,
Будто пьяный какаду.

Жри до срама «Арараты»,
Рябчиков с икрою жри.
В парке на Пятьдесят Пятой
Сук покрепче присмотри.

Вам — на Родину лететь
 На Аэрофлоте,
 Мне — домой, в сабвей переть
 На автопилоте.

Что мне родина-страна?
 Самогон да каша...
 А теперь, видать, нужна,
 Ведь, земля-то Ваша.

Мне ждать себя на Вашем месте,
 Где Вам теперь не обитать,
 И не стучать ногой по жести —
 Кому-де двери отворять?

Иду сюда, чтоб замолиться,
 И — мордой в грязь, не тормозя,
 Я жду себя, чтоб здесь казниться.
 Как будто бы везде нельзя...

Наталь, Наталь, как без тебя тоска!
 Какие все вокруг фёрты и идиоты,
 Циклеванные под свои компоты...
 Ну, не с котом же под балдою ботать,
 Какого цвета нынче облака?

Nobody to cry to... Понятно, Богу.
 Своими руками — не первый крах —
 Отправляю Вас, mon amie, в дорогу.
 Отправляю всего лишь прах.

Развеять над фьордом бы, на островах,
 Хоть в парке гудзонском даже...
 Наталь, а помнишь, как мы в горах?
 А помнишь, как мы на пляже?

Своими руками, да, ими-ей,
 Убил и отправил в странствие.
 Наталь, погоди ужо, а потом — убей.
 Но было же ведь и счастье...

Да, бедокурили, да воровали
 Безалаберно — на спорт и счет,
 На ножах и на саблях дрались,
 Заливая друг другу йод.

По больницам, в тюрьме — искали,
 За квартал — по походке — в любую темь,
 Дверь — ногами, хоть с матюгами —
 Но счастье было.

И счастье было,
 Как роса подарит с листка.
 Видишь, мама, как дождь на рыло? —
 Свечка, пиво и вся тоска.

Их было трое, как всегда,
 Они стояли строем —
 Без Слез, Сомненья и Стыда.
 Я поколеблен был тогда
 И не устоен.
 Они пошли по всем рукам,
 По всем отдушин-
 ам — не осталось ни глотка,
 Ни на беруши —
 Заткнуть, чтоб боль напололам
 Ночной порою...
 Коты орут по всем углам.
 Их было трое.

Ни советчики и ни четки...
 Попытки разве, да что скрывать?
 Расколюсь на первой лебедке,
 И не надо костей ломать.

Доминошные — кругом рыбы,
 Выхода — однова плохи...
 Совесть — как уместить на дыбу?
 Как за стольник скостить грехи?

Молю Тя, Господь, помилуй,
 Убо славя и нощи и дня,

Попущения ея смилуй
Рабе приснопоминае-мая.

Исцели да всели в юдоли
Светлых радостях о Тебя,
Идеже ни болезни, ни боли,
Ни недуги и ни скорбя.

Да променятся тамо слезы
Родниками благой любви
В Дусе Святе. Амен. Аминь.
(а грехи — занозы
на мой дом, как котов, зови.)

*Пушкин, Александр Александрович. Редактор дан-
ного журнала, кстати.*

Михайло Лецкин

Сонеты

Перевод с украинского Светланы Шаталовой

СОНЕТ

В висячих тех садах Семирамиды
висел я не один десяток лет
и подхватил какие-то флюиды —
мне до сих пор, увы, покоя нет.

Ах, как же вы стройны, кариатиды!
Не сдержат мой полёт ни солнца свет,
ни остров Крит — его чудесны виды —
ни Миноса обильнейший обед.

Но может и античность надоесть,
в ней тайная беда, похоже, есть,
никак не избежать её напасти.

И Сциллу, и Харибду ты забудь,
на наше небо глянь — увидишь путь
простого нашего, земного счастья.

ВСЕМУ СВОЙ СРОК

Красивый жёлтый лист слетел
на куст калины ярко-красный.
Нашёл покой он ежечасный
от скучных и нехитрых дел.

Он, пышный, в цвете заблестел
и жить планирует прекрасно,
царя среди жухлых трав несчастных —
совсем не плох такой удел!

Не знает золотистый лист,
что грохот гроз и ветра свист
придут — и песня будет спета.

Всему есть сроки и сюжеты
для книги судеб горьких строк.
И для снегов подходит срок...

ВЕСЕННИЙ СНЕГ

И вновь на землю снег упал
из белых лепестков черешни.
К ногам ложился он неспешно
и лишь деревья задевал.

И мир он снова покрывал
какой-то чистотой нездешней,
пришедшей то ль из мглы кромешной,
то ль из Начала всех начал.

Весенний снег в жару не тает.
Он безопасность обретаёт.
Но, к сожаленью, жизнь сама

не застрахована от смерти,
и в ветрогонной круговерти
снег прочь уйдёт, как и зима.

СОНЕТ

Белеют цветы, как сугробы.
Скучает трава по косе.

Собаки залаяли, чтобы
коты растревожились все.

То солнце, то дождик, то оба.
Не сядешь на лавку — в росе...
Прошла молодая особа
В мистической юной красе.

А Завтра придёт непременно.
Всё будет почти неизменно.
И буду я в небо глядеть,
ждать солнца, дождя (или снега?).

Ты не прерывай только бега,
ты, жизнь, продолжайся и впредь!

ВОЗМОЖНО

Возможно... а возможно, всё возможно?
(Иль, может, это всё — игра ума?)
Идёт же вслед за осенью зима,
и мы вещаем: «Это непреложно!»

Возможно, мы смогли бы осторожно
здесь, в мире задержаться — ведь сама
действительность — что лето, что зима —
счастливым миг небытия... Как сложно!

Возможно, и любовь живёт в астрале
и прилетает к нам во всей красе,
чтобы сердца её своей считали?

Возможно всё... и невозможно тоже...
Вселенский ветер радость нам умножит
и красотой наполнит дали все.

ПОДДЕРЖИ МЕНЯ, ЮНОСТЬ!

О юность неотступная моя!..
Я чувствую: ты просто вездесуща.
Ушла в былые лет прожитых гуща —
а всё ж я слышу трели соловья.

О юность, ты не бросила меня!..
Во мне — напев поэзии, растущей
среди кастальских муз в тех райских кущах,
где ключ волшебный пенится, звеня.

В стихах — моя любовь, моя надежда
последняя и вечная — жива.
Я не хочу в грядущее смотреть.

Коль есть она — и я живу, как прежде.
И я не стар, и молоды слова.
О, Юность! Не покинь меня и впредь!

В БЕССМЕРТЬЕ Я ГЛЯЖУ...

От Божьих знаков, право, не уйти.
Не я тут первый. Не последний тоже.
В бессмертье я гляжу — сомненье гложет:
один, среди предчувствий на пути...

Так что ж, мурашка, хочешь обрести?
Ползя в грязи, в нирване скрыться сможешь?
Не лучше ль уповать, что Бог поможет,
молиться, чтобы света луч найти?

Нет, жить, как и живётся, будет лучше.
Лишь в паузе незваных мыслей слушай
живое сердце, что нежнее шёлка...

Пусть множится грядущего росток —
он помогает не впадать мне в шок,
смотрясь в алмаз, разбитый на осколки.

БОЖЕСТВЕННЫЙ ДАР

Чудесная есть в сердце глубина,
вернее даже — бездна, без сомнений —
что силою чарующей полна
и выше модных всех нововведений.

Ни илом не покроется она,
ни коркой лет, потерянных мгновений...
Царит там веки вечные весна
и колокольный звон звучит весенний.

А коль в себе заметишь этот ил —
старайся отскрести что было сил,
до блеска, до кристальной чистоты...

Иначе потерять рискуешь ты
дар Бога! Никуда тебе не деться —
храни же этот дар великий — сердце!

В КОТОРЫЙ РАЗ

Что ж, грехи есть грехи. Были слёзы. Всё было.
И слова уже сказаны — с болью и без.
Я грешил перед теми, чей образ размыло
в синеве... А простят ли?.. Так нет SMS...

Видно, в Божьем Завете ответ сохранило
Слово... Только не значит «not» или «yes».
Чувство это мне душу совсем разорило,
разодрало, как чудовище злое Лох-Несс...

Что мне делать с собой? Вот вопрос
необъятный!
С ним по миру бродить до скончания дней...
Нет решения ему. Так и длится мой срок.

А Любовь что-то на ухо шепчет невнятно —
я надеюсь, что шёпот тот станет ясней,
и в который уж раз попадусь на крючок...

ГОРИЗОНТ

Кто к горизонту двигаться захочет?
Однако ж надо. Такова судьба.
Ведь будет без движенья жизнь слаба
и день не отличишь совсем от ночи.

Без горизонта будут слепы очи,
растения не захотят цвести.
Не сможешь поле жизни перейти —
всё голо, пусто, двигаться нет мочи.

Хоть та граница, как известно, мнима —
идёшь ты к той черте неумолимо,
а горизонт всё время убегает.

Остался ты при том же интересе —
нет без него ни города, ни веси.
Без горизонта жизни смысл растает!

НЕ СЛЫШИТ ВРЕМЯ

Но плакаться, по-моему, напрасно.
Евгений Евтушенко

Хоть скотчем клей, гвоздём хоть прибивай —
не задержать часы, что миновали.
Быстрее телеги катится трамвай —
так что с того? Одно им время дали.

Зима ушла, пришёл зелёный май,
снежинки уж давно цветами стали...
«Лети скорее!» — «Нет, не поспедай...» —
Не слышит время из бескрайней дали.

Стареть совсем бы не хотелось мне,
когда всё так чудесно по весне
и юность вновь порхает легкокрыло.

И плакать бесполезно: все плывёт
и — как велело время — проживёт
свой срок... То изменить никто не в силах...

Михаил Лецкин родился в 1932 г. в г. Орша (Беларусь). В 1955–72 годах проживал в Сибири, в г. Тюмень. Издал там две «взрослые» и пять детских книжек стихов, публиковался в прессе. Доктор филологии. Преподавал в Тюменском и Житомирском пединститутах. С 1972 г. живёт в г. Житомир (Украина). С 2014 г. на пенсии. Лауреат Всеукраинской премии им. И. Огиенко и премии им. Владимира Сосюры. Автор книг по литературоведению. Писал и публиковал в местной прессе стихи — в основном юмористического и каламбурного характера на украинском языке. Наиболее плодотворный период поэтического творчества начинается ок. 2017–2018 г. С этого времени и по сей день М. Лецкиным создано много стихов на религиозно-философские темы. Активно переводит с русского и других языков на украинский. Как взрослые, так и детские стихи М. Лецкина переведены на русский, испанский, каталанский, французский, английский языки.

Светлана Шаталова родилась в Сибири (г. Тюмень). Изучала романские языки в Санкт-Петербургском государственном университете, затем была гидом по еврейским маршрутам Литвы и Беларуси, переводчиком, сотрудником Еврейского музея в Вильнюсе. В настоящее время проживает в г. Жирона (Каталония, Испания), занимается редактированием и переводом книг с русского языка на испанский и английский (книги Е. Цейтлина, И. Гузенберг и др.). Владеет девятью языками; на четырех пишет стихи. Переводит поэзию, в основном на каталонский и испанский.

Galina Itskovich

TRANSLATIONS FROM UKRAINIAN TO ENGLISH

Ganna Osadko lives in the city of Ternopol, Ukraine. In addition to her work as an editor and an illustrator at the Bogdan publishing house, she also creates stained-glass works, and writes poetry and children's books. Her first book of poetry came out in 2009.

the garden

Got entwined every night:
 Their arms braided like branches
 Reaching over fences and borders of norms,
 Roots of their legs grew together inside the soil;
time and again,
 The greenery of their hair mixed,
 And petals of kisses fell loose in the grass —
 Is no longer traceable
 Who dropped which one...
 Then, morning appeared
 Like a good gardener, with
 The trimming kit all ready,
 And separated wheat from the chaff,
 Pruned carefully, cut sinful from righteous,
 Pulled apart God's from Caesar's,

Branches from branches,
 Leaves from the blossoms,
 The body from another body —
 Snap-snap-snap...
 Its blades are relentless
 Tree crowns are in bloody stains
 Fingers are freezing
 The garden's emptied out by the winter...

сад

Сплітались щовечора:
 Пагони рук тяглися одне до одного
 Через високі паркани умовностей,
 Корені ніг зросталися попід землею: ще і ще,
 Волосся зелене сплутувалось,
 Пелюстя цілунків осипалось у трави —
 Де чиї,
 вже й не збагнути...
 Ранок приходив,
 Як садівник ретельний,
 Із секатором у руках —
 І відділяв зерно від полови,
 І відрізав грішне від праведного,
 Боже від кесаревого,
 Гілку від гілки,
 Листя від квіту,
 Тіло від тіла —
 Чик-чик- чик...
 Лезо несхитне
 Крона скривавлена
 Пальці холодні
 Порожній зимовий сад...

Be It

Things that are crucial are simple like carrots
and peas,
 Clingy like children, eternal like deep blue sea.
 Faster than roadside weeds you can grow love.
 And God speaks in you, sounding like a dove:
 "Don't be afraid. Barefoot, embark on your quest.
 Want to be happy in a heartbeat?
 Be my guest.
 Be it.

Будь ласка

Усе, що насправді важливе, як борщ, просте,
 Дотульне, як діти, і вічне, як синє море,
 Немов подорожник, любов у тобі росте,
 І голосом горлиці Бог у тобі говоре:
 — Нічого не бійся, босоніж ступай на
 путь...

...Ти хочеш щасливою бути?

Будь ласка.

Будь.

Vladislava Ilyinskaya was born in Odessa in 1984. Vladislava, whose first poem was published in the local newspaper when she turned 6, is a bilingual and bicultural poet.

Noah

We're sailing somewhere many a month on end.
 Southeastern winds dampen the moods and beds.
 Every moment in here is passing like a gunshot.
 We are left in the morning with mounds
 of empty shells.

After all, we have mastered tying reliable knots,
 Having learned to rescue — then torture —
 our own kind.

Look how hungry fog eats away at the flood,
 How piercing pain flows through the smoke
 filled lungs.

Look how memory flees beyond the horizon's
 pink

Despite of years of indulgence and care;
 How exhaustion plants a cold rock in your
 temple,

And it rocks you at night and pulls to the ocean
 floor.

When we finally reach the deep, undercurrent
 kingdom

Look into my eyes without words, objections or
 why's;

Look the way you had eyed me that lonely
 evening

When we just met each other, my baby Noah.

Ной

ми кудись пливемо вже багато місяців поспіль,
 від північних пассатів постійно волога постіль,
 кожна наша хвилина минає неначе постріл,
 залишаючи зранку купу порожніх гільз.
 ми навчились хіба що надійно плести канати,
 рятувати лише для того, щоб катувати...
 подивись, як голодний туман поїдає натовп,
 а крізь димні легені спливає нестерпний біль.
 подивись, як за розовий обрій тікає пам'ять,
 хоч ти пестиш її і бавиш її роками,
 як натомість у скроні зростає холодний камінь,
 що ночами загойдує, тягне тебе на дно...
 і коли ми дістанемось царства підхвильних

течій,

подивись мені в очі без речень, без заперечень,
 подивись, як у той незабутній самотній вечір,
 де ми щойно зустрілись з тобою, маленький Ной.

Andriy Khaetskiy is a poet from Odessa, Ukraine. His first book of poetry was written in Ukrainian and contains poems written between 2012 and 2016. Prior to 2012, he wrote in Russian only.

While you're asleep among the pines and fir trees
 The world gives up its usual count of days and
 hours,

And wraps its body in a blanket of hybrid wars.
 The sun is darkening, and shadows are promptly
 cast.

Day in and day out, the unending broadcast is sad.
 Sadness permeates everything, every vessel and
 vein.

Your room is your block post. Stay there.
 Don't rush.

There are new arrivals of souls, yet it is flesh that's
 in demand.

While you're asleep in the middle of snowless
 winters

The world goes crazy with incurable changes.
 What used to be is written on its pages.

Truth that defies history won't be mortared to
 ashes.

There are new front lines and bullets in place of
words.
Everybody owns machine guns and their own
version of truth.
While you're asleep, time is drinking away the
shores.
The sun is darkening and shadows are promptly
cast.

Допоки ти спиш там, поміж зелених ялин,
світ відмовляється від звичних йому хвилин
і загортає тіло в ковдру гібридних війн.
Лиш сонце тьмяніє і швидше зникає тінь.
А тут що не день, то сум нескінченних новин.
І він просякає все, до найтонших судин.
Кімната — то й є твій блокпост. Сиди, не виходь.
Надходять у продаж душі, а попит на плоть.
Допоки ти спиш там, серед безсніжних зим,
весь світ шаленіє від невиліковних змін.
Так, як було колись — лишилось на сторінках.
Не історична правда не перетреться в прах.
А тут все нові фронти і замість куль слова.
В кожного є свій кулемет і правда своя.
Допоки ти спиш, час поволі п'є береги.
Лиш сонце тьмяніє і швидше зникає тінь.

We stopped short in front of the autumn.
There's silence.
Sadness in your eyes.
Sadness in your eyes.
Rains will likely wash off the roof but will leave
behind
Steel in the heart.
September came but we could be not there

The edge is blurred
The edge is blurred
My people plant flowers in their home gardens
For mourners —
My people these are. And there is strength
In remembering
All who folded their wings for Ukraine's flight.
In memoriam.

За крок до осені ми зупинились. Тиша.
В очах печаль.
В очах печаль.
Дощі, напевно, змиють кров, але залишать
у серці сталь.
Зустріли вересень. Могли б і не зустріти.
Розмито грань.
Розмито грань.
Народ, що навесні саджає вдома квіти
Для покладань —
то мій народ. І в тому наша із ним сила,
щоб пам'ятать.
Щоб пам'ятать
усіх, хто склав за вільну Україну крила,
і власну стать.

Galina Itskovich graduated from the Hunter College School of Social Work. She practices psychotherapy, teaches, translates and writes poetry and prose in Russian and English. Her work in English appeared in The Write Launch, Harpy Hybrid Review, Poetica, Asian Signature, Unlikely Stories, Cardinal Points, Former People, in almanacs Global Insides and Contemporary Jewish Writing, and elsewhere. There are multiple publications in Russian. She authored one book of poems (in Russian). Lives in New York City.

Леонид Рохлин

ГОРЯЩИЙ ОСКОЛОК

(хроника героической жизни)

*Вас не сломаешь, не сожжёшь,
В порывах бурь вы только гнётесь,
К вам в душу просто не войдёшь,
Вы, даже падая, не разобьётесь...*

Часть первая. НАДЕЖДЫ

Творец позволил мне жить недалеко от рая. Кажется, взобравшись на ближнюю горку, можно было увидеть райские кущи калифорнийского происхождения. Благодать! Но через пару лет стало мутить от скуки, тоски и одиночества. Было уж слишком тихо и пустынно в передней рая. А уж когда солнце касалось края ближних гор, жизнь вообще замирала и молчание пожирало сознание.

Но вот однажды в бассейне услышал русскую речь и оторопело взглянул на худого высокого подтянутого старика, с почтением несущего под руку невысшимо тощую благоверную. Как потом выяснилось, мой взгляд был настолько вопросителен, что старик спросил, не нужна ли помощь. Инстинктивно ответил на русском. И тут вдруг старик, расплывшись в улыбке, произнёс тоже на русском, но на каком-то странном русском наречии. Странность была в чистоте произношения слов и архаичности русских фраз, давно забытых в России. Разговорились...

С того дня стал приглашаем в уютный дом, что оказался по соседству с моим. Владимир, так звали хозяина, встречал торжественно, всегда в строгом, слегка поношенном костюме. Сквозь линзы очков светилась холодная барственная гордость вперемежку с живым детским любопытством. Ему уже в ту пору было 85 лет, но выглядел отлично. Всегда бодр и гладко выбрит.

Приглашал в гостиную, где нас ждал красиво инкрустированный шахматный столик и расставленные

большие фигуры, вырезанные из слоновьей кости. Мы важно рассаживались, произнося какие-то почтенные фразы, и шахматное действие начиналось. На кухне тихо-тихо скреблась, словно ручная мышь, супруга. Мы — слабые шахматисты, и игра была нужна лишь как фон для беседы. Последнее увлекало безмерно. Нас обоих и, кажется, в равной степени. Дело в том, что старик совершенно не знал жизнь советской России, а я, по понятным причинам, мытарств русского дворянства, выгнанного из страны предков и рассеянного кровавым взрывом ленинско-сталинской мечты в начале XX века.

Он с увлечением отвечал на мои вопросы, но вдруг застывал, и холодные стекляшки глаз внимательно изучали, буквально впиваясь в собеседника. Становилось неприятно. Но это вскоре исчезало и добрая улыбка вновь оживляла беседу.

Но вот на пороге возникала тень супруги, приглашающей перекусить, чем Бог послал. Именно тень, потому как она всегда молчала и двигалась бесшумно. Будучи дамским угодником, я старался разговаривать старушку, рассыпаясь в комплиментах. Но лишь слабая и жалкая улыбка на морщинистом лице была мне ответом. Я буквально спотыкался о её молчание. Очень старался разговаривать. Но вскоре на лице Надежды (так звали супругу) возникал испуг и мольба во взгляде на мужа.

«Ну ты же видишь, что я не хочу... Избавь меня» — молил взгляд.

— Ну иди к себе, Надин, — в голосе мужа возникал металл, — приляг. Мы тут сами разберёмся.

И жена, облегченно вздохнув, исчезала. Казалось, она никогда не перечила мужу, ни о чём не спрашивала, ничем не интересовалась. Даже обычные женские вопросы о детях, внуках, жене не возникали. Не спрашивала меня и о своих молчала, хотя со слов Володи

я знал о существовании сына и двух дочерей. Поразительно, что ни одной фотографии детей не красовалось на стенах большого дома. Это сразу бросалось в глаза среди обилия красивых и дорогих кукол в ярких национальных одеждах, замерших в стеклянных шкафах, на полках и столиках, среди множества картин и безделушек. Чувствовалось, что в доме существовала какая-то глубокая, тщательно скрываемая тайна. Но моё острое любопытство касалось только историко-политических событий в долгой судьбе Владимира. Его интимная жизнь меня никак не трогала. Порой лишь усмехался, зная по собственному опыту, что в каждом семейном сундуке непременно накапливались высохшие тараканы. Правда, порой, приходя без приглашения, через садовую калитку слышал отзвуки семейных бурь: — Не ходи в мой кабинет... я сам уберу... — слышался старческий визгливый голос Владимира, — ...не напоминай мне о них... забудь о прошлом...

На маленьком столе в гостиной всенепременно присутствовали одни и те же блюда, вызывая только в российских людях не понятное никому другому возбуждение с обильным слюноотделением. Разделанная селёdochка, выложенная на кружочках варёной картошки и украшенная зелёным луком. Эту королеву закусок окружали маленькие тарелочки с соленьями — помидорчики, огурчики, квашеная капуста и тонко порезанные ломти чёрного хлеба. Изящные тарелочки с тонкими ломтиками вареного мяса вперемежку с хреном. Хозяин дома, только он, торжественно открывал холодильник и, словно царскую корону, выносил к столу пузатый запотевший графинчик с водкой.

Мы важно усаживались и действие начиналось. Нам было достаточно по две, ну от силы, по три рюмочки. Главным было не количество, а то магическое влияние, которое оказывал на нас, особенно на хозяйина дома, этот священный ритуал. Я чувствовал непонятную радость, какую-то детскую возбуждённость в словах, жестах, восклицаниях очень пожилого человека с рюмкой в поднятой руке. словно он всю жизнь ожидал именно меня. Наконец, дождался гонца из России, и теперь нужно было успеть освободить душу от кошмара воспоминаний. Именно кошмара, как потом стало ясно. Мой новый знакомый

оказался человеком необычайно тяжелой судьбы, поразительно трагичной...

Он был из донских казаков. Из поколения в поколение выходцы из семьи становились кадровыми военными, занимая высокие посты в российской армии. Его прадед громил турок во главе кавалерийской дивизии. Дед — Наполеона. Отец тоже успешно и быстро поднимался по служебной лестнице. Пришло время, и отец встретил женщину. Искренне, отчаянно влюбился. Через пару лет его направили в С.-Петербург, в академию Генерального штаба. Отец с отличием закончил академию и в звании подполковника, полный радужных надежд, возвратился домой.

Но случилось возмутительное событие. Он застал в будуаре жену в объятиях молодого офицера. Нет, конечно, не в этом была исключительность события. Поведение отца в эти минуты, вот что было крайне оригинальным. С моей точки зрения. Отец предлагает офицеру одеться и ждёт в гостиной. Затем настоятельно требует сатисфакции или твёрдого обещания жениться на обесчещенной женщине. Вот они — славные вековые традиции русского дворянства.

— С подобными не венчаются, — нагло ответил любовник, — поведение таких женщин не может оскорбить честь офицера.

Дальнейшее произошло в секунды. Отец выхватил наган и пристрелил любовника. Вскоре состоялся военно-полевой суд. Он... оправдал отца моего героя. Отец развёлся и уехал в армию. Через несколько лет, по настоянию стареющей матери, вновь женился. Без особой любви. Последним, третьим ребёнком в новой семье и был мой герой. Ко времени его рождения прошла первая мировая война. Отец — участник знаменитого брусиловского прорыва, где, храбро сражаясь, потерял глаз. Войну закончил в звании генерал-майора, с четырьмя георгиевскими крестами. После третьей рюмки Владимир торжественно, словно в первый раз, вел в кабинет и показывал с благоговением бесценные награды и золотой кортик отца, преподнесённый Великим князем Константином.

Затем случилась революция, до основ потрясая старозаветную Россию. Затем гражданская война огромным катком прокатилась по всему безграничному пространству страны. Генерал активно участвовал и в этой братоубийственной войне. Командовал

казачьей дивизией, потом армией. Был членом временного правительства Войска Донского. Другом Декина. В результате войн и революций погибли миллионы. И покинули страну миллионы, спасаясь от террора. В числе спасшихся была и семья моего героя.

Они поселились в одном из красивейших городов Европы, в Праге. События революционных лет круто изменили характер отца. Он отошел от военной и вообще общественной жизни. Замкнулся в водовороте трагических мыслей, переживаний, воспоминаний. В этой квадратуре круга, неразрешимости проблем, не было места жене и детям. Старшего сына и дочь мать с трудом пристроила в бесплатный школьный пансион для детей высшего офицерства. В Праге, в хаосе и нищете, родился мой герой. Отец не видит цели существования, близок к самоубийству. Спасает узкий круг боевых товарищей.

Так прошло восемь долгих лет. Появляется давний товарищ по работе в правительстве Войска Донского и увлекает новыми идеями. Далёкими и от политики, и от военных дел. Семья уезжает во Францию, оставив в пражском пансионате двух старших детей. Лишь младшего берут с собой.

Генерал становится фермером, купив на собранные друзьями деньги и банковский кредит небольшой дом и участок земли в Бургундии. Он ведь казак. Деда и прадеды были людьми от сохи. Тяжелый крестьянский труд сближает отца и сына. Спадает подавленное состояние генерала, и он по-новому, с любопытством глядя на быстро мужающего сына, начинает рассказывать. О России, недавней и стародавней, об истории европейских войн, о колониальной политике западных стран, в том числе и России, о друзьях-товарищах, о грозном российском оружии, не раз спасавшем Европу от врагов. Юноша — крепкий, рослый, светловолосый — внимательно слушает, и сказанное отцом навечно западает в сознание. Потому что рассказывает родной, любимый человек, которому сын беспредельно верит. Но в ещё большей степени потому, что оба, слушатель и рассказчик, находятся в русле единого потока мыслей, действий и традиций.

В Бургундии начинает раскрываться богатая душа младшего сына. Исчезает грусть от недостатка любви в детстве. На всю жизнь запомнилось горькое

и обидное, когда в шестилетнем возрасте слышал от отца страшные слова. «Зачем ты появился? Ты никому не нужен!» Владимир вспоминает эти слова, рассказывая, как забивался в угол и плакал, понимая что и у мамы не найдёт ласки.

Время лечит. В деревне юноша окунулся в круг непривычных, непрерывных, утомительных крестьянских дел. И впервые почувствовал, как нужен отцу, что и его трудом живёт семья. В простоте крестьянских забот проснулся дух мужчины. На плечи мальчика неожиданно легли не детские и не дворянские заботы. Он, наконец, приобрёл семью. Да ещё вдобавок близких и тёплых друзей. Корову, несколько десятков кур и двух собак, подаренных по старости соседом. Уж как он их чистил, кормил и ласкал. А ещё были книги из библиотеки отца. И... его рассказы. Глаза закрывались от усталости и лишь сны тревожили сознание.

Прошел год, и девятилетнего мальчика отдали в начальную школу. Сразу в третий класс. Школа добавила забот. Но энергии вполне хватало и на учёбу. Вскоре стал лучшим учеником и таковым стремился быть во все годы обучения. (И вообще, в дальнейшем по жизни — на работе, в компаниях приятелей, на съездах и совещаниях, в частных общениях — всегда выделялся.)

Обострённое и чаще горькое стремление. Горький привкус, потому что везде чувствовал себя изгоем. Вне Родины. Да, да! Эти слова, поверьте, он произносил без пафоса. Владимир уже понимал, со слов отца, что такое родина. Но впервые и особо остро почувствовал в школе. Ведь мальчишки, да и некоторые преподаватели, не стеснялись в обидных выражениях, в пренебрежении. Он здесь не свой. У него нет таких же прав, как у других. Он должен молчать. Постепенно сознание наполнялось обидой. Появилась злость. Возникали конфликты. Накапливаясь, они вылились в грандиозный скандал.

Как-то на уроке истории изучали эпоху Наполеона, и учитель говорил, что великий император не завоевывал страны Европы, а лишь освобождал народы от рабства. Попытался принести свободу и в Россию, где особенно процветали дикость и крепостное право. Но не смог, потому как уж очень большая территория у русского царя. К тому же там, на южных

и восточных окраинах живут полудикие жестокие и коварные казаки. Они помогли русскому царю в войне с Наполеоном, а потом пришли в Европу, и Франция содрогнулась от кровавого насилия. В этот момент и раздался тонкий, пронзительный мальчишеский голос, прерывающейся от волнения и слёз: — Вы лжёте, лжёте! Вы гадкий человек. Это неправда. Я тоже казак. Мой дед освобождал Париж во главе казачьей дивизии и рассказывал, как восторженно их встречало население. Вы лжёте, лжёте. Зачем?

Он плакал и, размазывая по щекам слёзы, всё повторял эти слова. Взбешённый учитель подскочил и, схватив “казака” двумя руками за шиворот, стал больно трясти мальчишку. А тот упорно повторял одни и те же слова. Наконец, рубаха лопнула по швам и полуголый “казак” выбрасывается учителем в коридор. На следующий день отец разогрел скандал, появившись в школе в генеральском мундире с орденами и весьма грозным видом. С большим трудом удалось погасить конфликт. Учитель исчезает, но атмосфера вокруг моего героя сгустилась до ненависти. Слава Богу, это был последний класс начальной школы. Он закончил её с золотой медалью. И поступил в местный колледж. Число предметов резко возросло. Здесь уже надлежало выбрать профессиональную направленность. Душа потянулась к машинам, механизмам. Одновременно проснулась в честолюбивом юноше любовь к литературе, истории. Уже не только русской, но и французской. Времени на сельские работы стало ощутимо не хватать. Дела на ферме пошли всё хуже и хуже.

К тому же всё более раздражали частые ссоры между родителями. Не замечать этого Владимир не мог, а поделиться чувствами было не с кем. Школьных друзей нет. Только книги, да размышления с самим собой. В это время из Праги приехали старшие брат и сестра. Он было потянулся к ним, но не нашел ответа. Время развело братьев и сестру. Расставались, когда он был слишком мал, а встретились взрослыми и... чужими. Брату и сестре, воспитанных вне русской среды, вне общения с отцом, непонятны его уж слишком патриотические настроения, чужды сельские заботы, да и опека полузабытых родителей тоже. В общем, вскоре семья окончательно распалась.

Ферма прогорела и её пришлось продать за гроши. Отец и дочь поселились в Париже. Два брата и мама — в Нормандии, в Руане, на севере Франции.

Талантливый юноша успел до раскола семьи закончить сельский колледж с золотой медалью. В Руане без труда был зачислен в технологический лицей. Его всё больше и больше влекло конструирование машин и механизмов. Он немного завидует старшему брату. Его умению не унывать, успеху среди молодёжи, среди женщин. А он всё один шагает по жизни, с книжкой да прилипшими к сознанию чертежами. Так хочется любви, так порой тягостно вечерами быть одному, так тянет заглянуть в один из весёлых городских домов, просто в кафе к людям. Но это чёртова застенчивость и отсутствие средств...

В те годы (20–30-е) в столицах Франции и Германии, в других крупных городах, после европейских революционных бурь, осели миллионы русских. Наиболее образованных граждан дореволюционной России. Прошло полтора десятка лет. Многие из них прочно вросли в общественную жизнь принявших их стран. Сделали карьеру. Выросли их дети. Появились общественные деятели. Они стали создавать разного рода социальные и религиозные союзы, объединяя иммигрантов. Взрослых и детей.

Так возникла юношеская национальная организация русских скаутов (НОРС). В тесном общении русских детей в лагерях, на природе, шло воспитание патриотических чувств и высоких моральных качеств.

В окрестностях Руана, на берегу полноводной Сены, был создан один из таких лагерей. Туда и пришли два брата. Скорее, старший привёл младшего. Но сам не задержался среди соотечественников. Тяжелая работа на заводе, серьёзное увлечение футболом не давали свободного времени. А вот младший брат обрёл здесь... родину. Он ждал наступления весны, открытия лагеря, как ожидает пылкий юноша свиданий с первой любовью. И пропадал неделями среди мальчишек и девчонок, среди русской речи, песен и бесконечных разговоров о русской литературе, поэзии, родине. Там растворялась молчаливость, отчуждённость, замкнутость. Он был постоянно весел и возбуждён. Изредка приезжающий старший брат лишь диву давался, глядя на радостное светящееся лицо младшего брата.

Лагерь скаутов просыпался рано утром. Из палаток выскакивали, выпрыгивали молодые люди. Они выстраивались поотрядно, одетые в одинаковые рубашки с эмблемой лилии со святым Георгием, повязанные галстуком со специальным узлом. Узлом дружбы. Шел утренний смотр лагеря и придиричивый командир, пряча улыбку, обходил отряды и каждому летело приветствие: — Будь готов! Отряд хором отвечал: — Всегда готов!

И отряды уходили шеренгами в леса и поля, сквозь маленькие чистенькие французские городки и посёлки. Скауты устраивали спортивные состязания на реке. Здесь особо выделялся мой герой. Ему не было равных в плавании, но особо в прыжках в воду. Бесстрашие и одержимость владели им. Он поражал сверстников, прыгая с мостов Руана. Этого ему было мало. И когда поездом ездили на море, в окрестности Гавра, он показывал высший пилотаж, прыгая с отвесных высоких скал и мачт пришвартованных кораблей. Его возбуждала хвала друзей и горящие глаза друг.

Но самое глубокое очарование ожидало вечерами. Пылающий костёр, снопы искр, летящих к чёрному безмолвному небу и разговоры. Бесконечные, словно волны океана. То бурные и громкие, то спокойные и тихие. Правдивые, искренние слова обо всём, что творится в мыслях. Потом кто-то заводил песню. Её подхватывали и на волне возникших чувств в темноту ночи летели стихи. И здесь тоже выделялся мой герой. Проникновеннее, восторженнее никто не мог читать Блока, Гумилёва, Брюсова, Иванова, Цветаеву. Модных среди эмигрантов той поры.

Была и ещё одна причина, пожалуй самая существенная, постоянно радостного настроения. Володя встретил девушку с голубыми глазами и длинной русой косой. Тихую, задумчивую, мечтательную, из старинного обедневшего дворянского рода.

Пришла первая любовь. Незаметно. Вспыхнула внезапно и осветила жизнь. Огромные голубые глаза девушки, восторженно смотрящие прямо на него, всколыхнули душу. Однажды решительно взял её руки и, прислонив ладонками к лицу, быстро проговорил заветные слова. Теперь их всегда видели вместе. И в походах и особенно возле вечернего костра. Теперь ещё чаще слышали его голос. Страстный,

уверенный, подогреваемый любовью. Мир внезапно озарился добротой и светом.

Мой герой стал выделяться среди сверстников. Его заметили и вскоре назначили командиром звена, а потом и отряда. В торжественной обстановке руководитель НОРС полковник Богданович вручил юноше памятный знак и удостоверение члена руководства скаутов в Нормандии. Тогда же полковник, заинтересовавшийся скаутом, составил и характеристику моего героя. В ней, помимо прочего, писалось: “...выделяется серьёзностью выдвигаемых планов, обстоятельной разработкой и упорностью при выполнении... в спорах азартен и фанатичен, беспощаден к поверженным, признаёт только свою правоту...”

Ну и, конечно, он жадно учился. Книги и любовь наполняли энергией. Чтобы чаще видаться и вне летних лагерей, Евгения, его подруга, уговорила родителей отпускать её в Руан на курсы немецкого языка.

Там они и встречались. Девушка приезжала на автобусе, а в обратную дорогу он вёз её на велосипеде. Через поля и тенистые небольшие дубравы, по старому мосту, что буквально висел в метре над тихой речушкой. Переезжая мост, они всегда сворачивали с дороги и, пройдя метров пятьдесят, выходили на прибрежную поляну, заросшую высокой травой. Там ужинали бутербродами, запивая чаем, и весело болтали обо всём и ни о чём. И однажды на той поляне мягким прозрачным тёплым весенним вечером Евгения вдруг пристально посмотрела в глаза юноше и, не отводя глаз, стала медленно раздеваться.

— Ты только не торопись, любимый, — шептали её губы, — не торопись!

А он, словно телёнок, впервые дорвавшийся до материнской груди, тыкался неумело, целуя и лаская, разгорячённый неистовой страстью. В какой-то момент почувствовал, как что-то горячо растворилось в женском теле. Исступлённо-восторженное состояние, казалось, длилось вечность. Губы и руки подруги всё требовали и требовали. Нежно и трепетно. И мой герой жадно повторял ласки, следуя молчаливым указаниям женщины.

Это случилось слишком поздно, чтобы имело счастливое и законное последствие. Закончился третий год обучения в лицее. Впереди были экзамены. Мечты неслись с головокружительной быстротой.

Грезился университет, рядом любимая женщина. Мир казался прекрасным и удивительным. Познаваемым. Экзамены сданы, и вновь Володя первый. С золотой медалью. Ему выдали грант, большая редкость, на четвёртый год лицейского курса с получением по окончании диплома конструктора-чертёжника и льготного поступления в технический университет.

Евгения знакомит его с родителями. Те души не чают в юноше, видя в нём дочери и своё благополучное будущее. Счастье приходит и в семью героя. Старший брат весьма успешно движется по спортивной лестнице и вскоре становится вратарём сборной Франции по футболу. Сестра в Париже удачно выходит замуж, выбрав представителя знаменитого и богатого дворянского рода князей Елагиных. Родители, правда, в разводе, но материально обеспечены и каждый занят устройством личной жизни. Всё прекрасно и впереди лишь светлое будущее.

И тут всё внезапно обрушилось. Мировая война. Вся северная Франция была мгновенно оккупирована немецкими войсками. С немецкой аккуратностью и деловитостью были запрещены все союзы, общественные организации, собрания. Идут аресты коммунистов, евреев и членов левых партий. Вводится жесткое регулирование общественной жизни.

В первые дни войны старший брат был призван в армию и вскоре исчез в водовороте военных событий. Резко ухудшилось материальное положение семьи, и мать, никогда ранее не работавшая, вынуждена была поступить на тот самый завод, где трудился старший сын. Баронесса разносит письма и документы, а по вечерам моет полы в конторе. Старается изо всех сил, чтобы обеспечить обучение младшего сына, дать возможность окончить лицей.

В ответ на немецкие репрессии нарастает сопротивление свободолюбивых французов. Мой герой не участвует в Сопротивлении. Руководство НОРСа запретило вмешиваться в отношения немцев и французов. Но скауты небольшими группами собирались по домам, устраивая вечеринки, обсуждали военные действия, постепенно заливающие Европу, идеологию фашизма. Мнения юношей и девушек противоречивы. Как русские все они негативно относились к немцам, зная со слов родителей о битвах первой мировой

войны и читая воззвания лидеров фашистской партии об уничтожении коммунистов и инородцев на территории всей Европы. Следовательно, немцы планируют войну и с Россией. Но некоторая часть мечтает использовать немецкую армию для свержения большевизма в России и возвращения на родину. «Надо сотрудничать с немцами, — говорят они, — Россию невозможно оккупировать, тем более на долгий срок. Немцы уничтожат большевиков и уйдут, а мы вернёмся и восстановим нашу власть, наши права. Надо сотрудничать!»

Яростные споры до хрипоты, до накала страстей. Постепенно многие скауты перестали посещать вечеринки, боясь последствий. Остались непримиримые. В их числе, конечно, и мой герой. Он горел желанием действовать. Сотрудничество с немцами вызывало отвращение. Участие в Сопротивлении желательно. Но он не знал, где найти таких знакомых, их нет в его окружении. Мысли раздваивались, а посоветоваться не с кем. Руководители НОРСа исчезли. На телефонные звонки не отвечали. А тут ещё уезжает с родителями Евгения. В Марсель, а там морем в Алжир. Подальше от войны. Расставание было тягостным. Влюблённые подавлены обрушившимися событиями. Молчат, стоя на перроне, чуть поодаль от родителей. Евгения плачет, стесняясь выразить на людях свои чувства.

Так случится, что они больше никогда не увидятся. Лишь через несколько десятилетий он узнал через общую знакомую, что Женя стала профессором русской литературы в Чикаго, в частном университете.

Наступало самое страшное и самое героическое время в жизни моего героя. Оно начиналось с мучительного одиночества. Он мечтается, не находит себе места. Учёба уже не приносила былого удовлетворения. А вокруг, он видел, нарастало сопротивление оккупантам. Знакомые семьи укрывали евреев и коммунистов. На улицах появились прокламации, среди населения распространяются радиосводки с фронтов, кто-то резал провода телефонной связи, взрывал водоводы к военным объектам и даже происходили убийства немецких офицеров. Сопротивление росло и комендатура Руана даёт приказ мэрии города выставлять охрану из лояльных граждан на некоторых объектах.

По разнарядке и мой герой получил приказ войти в группу охраны. Он притворился больным. Это спасло на некоторое время, но что дальше? Он вновь и вновь не приходил на охрану объектов. И наступил день, когда добрый знакомый сообщил, что видел приказ о его аресте за саботаж и отправке в немецкие лагеря. О них уже все знали. Попасть туда означало мучительную смерть.

Он звонит в Париж отцу и просит срочно найти Богдановича. Ему необходима помощь. И она приходит. Буквально через день появился незнакомый человек, русский. Он передал документ — официальное направление от немецкой комендатуры в Париже в Бюро русских беженцев в Германии, в Берлин, где его направят на работу. Человек сообщил адреса и телефоны друзей в Берлине, где его примут и помогут. И письмо на имя некоего Виктора Байдалакова, председателя Совета НТС. Его он должен передать лично в руки. Вот так началась, не в лучшую пору, самостоятельная жизнь девятнадцатилетнего юноши.

Здесь, для дальнейшего рассказа, потребуется небольшое разъясняющее отступление. Всё — со слов моего героя. В Германии, как и во Франции, находилось много русских беженцев, бежавших из Советской России. Со временем образовались политические союзы и движения. Среди них главную роль играли Национально-трудоустройственный союз нового поколения (НТС) и во многом сотрудничающая с ней Национальная организация русской молодёжи (НОРМ). В чём-то подобная французским скаутам НОРСа. Со второй половины тридцатых годов они столкнулись с ярким национализмом фашистской диктатуры. Лидеры фашизма стали открыто решать так называемый “еврейский” вопрос, физическое уничтожение нации. Спровоцированный властью массовый погром немецких евреев в ноябре 1938 года, оскорбительно названный “хрустальной ночью”, был первым общегосударственным шагом. За ним последовало убийство 6 миллионов евреев и сотен тысяч цыган в специальных лагерях смерти. Параллельно, с началом войны, началось осуществление и другого глобального проекта — завоевание нового жизненного пространства на Востоке и создания на славянских землях, главным образом русских, великой германской

империи. Славяне были названы “паразитами среди наций” и тоже стали подвергаться массовому уничтожению в тех же лагерях.

Первое время, довоенное, столь яростный национализм не особо смущал руководителей русских патриотических союзов. Даже наоборот. Двадцать восемь эмигрантских организаций в то время направили лидеру фашистов Адольфу Гитлеру адрес с заверениями в своей преданности. Они писали, что не имеют права быть пассивными наблюдателями в борьбе двух миров. Противостояние коммунизму, неприятие марксистской идеологии служило притягательной силой. И потому в 1936–39 годах руководители НТС ездили в Берлин, чтобы выяснить возможности для объединения с фашистскими властями. Видимо, о многом договорились, так как в 1939 году центр союза переехал в Берлин. Но вскоре фашисты закрыли все эмигрантские учреждения, и НТС ушел в подполье. И активно действовать, к их чести надо заметить, не прекращал. Особенно с началом оккупации российских земель. Внедряясь в немецкие гражданские организации, члены союза проникали на оккупированные российские территории. Они работали в отделах социальной помощи немецких управ, в местах общественного питания и культуры, в управлениях городским хозяйством. Некоторые помогали партизанам Белоруссии в их военной борьбе с фашистами. Но главным образом, старались проникнуть в лагеря военнопленных, где в первые годы войны скопились и содержались в нечеловеческих условиях миллионы российских граждан. И как могли помогали своим соотечественникам.

В такую страну в такое смутное время попадает девятнадцатилетний юноша. Попадает внезапно, врасплох, в огромный город, застигнутый фашистской идеологией. У Владимира здесь никого нет — ни родственников, ни друзей, ни приятелей. Никого! Безмятежная юность, так быстро пролетевшая, походы, костры, веселье, любовь, мечты — всё мгновенно исчезло. И больше уже никогда не вернётся... Счастливая короткая пора.

Его устроили на работу чертёжником в небольшое конструкторское бюро маленького заводика в предместье Берлина. Порекомендовали пансионат в районе вокзала Шарлоттенбург, центре бывшей здесь

ранее русской колонии. Теперь он вставал в шесть утра, чтобы городской электричкой и автобусом добраться до заводика, где в небольшой комнате ютились четверо молчаливых мужчин.

В пансионате проживало шестеро тоже молчаливых людей. Даже за общим обеденным столом, где они встречались утром и вечером, царило молчание. И лишь косые многозначительные взгляды и порой выдавливаемые улыбки выдавали чувства. Все здесь боялись друг друга, страшились доносов, лишнего слова, смеха.

Он был самый молодой, и этот висящий в воздухе страх угнетал и сковывал юную душу. На помощь пришла хозяйка, сухопарая пожилая фрау. Как-то воскресным утром, когда за столом они оказались вдвоём, приветливо улыбаясь, дама сказала, что неподалёку есть чудесное место. Аквариум в Орштайльском зоопарке. Там можно долго гулять, любуясь диковинными рыбами, амфибиями, рептилиями, насекомыми, пауками. Постоялец, тут глаза хозяйки налились слезами, чем-то напоминает сына, который с подругой часто проводил там время. Погиб в Норвегии, и теперь вот она одна. У неё сохранился бесплатный пропуск от сына, и Владимир может им воспользоваться.

Она ласково всматривалась в лицо юноши и всё подливала ему остывший кофе. Аквариум да кинотеатр на Гольцштрассе, где крутили длинные романтические американские вестерны, успокаивали мысли и по воскресным вечерам они выплёскивались в длинные письма. Он писал их Евгении, часто и подолгу задумываясь, нежно глядя исписанные аккуратным почерком листы. Писал и складывал в старый толстый альбом, который нашел в шкафу. Нередко читал предыдущие. И улыбался, даже тихо смеялся. Жутковато было слышать в гробовой тишине полутёмной комнаты внезапный смех.

А в понедельник снова у чертёжной доски. Но вскоре размеренное тоскливое течение жизни резко изменилось. В обеденный перерыв, когда он гулял по аллее, к нему подошел человек. Владимир знал его как инженера-технолога с завода. Тот иногда приходил к ним в конструкторское бюро за чертежами. Человек протянул руку и мой герой вдруг услышал... русскую речь.

— Вы, я вижу, всегда одиноки, — заговорил инженер, — не хотите ли посетить нашу молодёжную организацию, русскую, разрешенную властями. Возможно, найдёте друзей и вообще наполните жизнь активной деятельностью, на благо родины. Подумайте!

Владимир словно проснулся от спячки. Со всей горячностью молодости внезапно поверив, откликнулся на призыв. Прощай гулянье в парках и мечтательное созерцание роскоши в тёмном зале кинотеатра. Теперь все будет как раньше, среди скаутов, мечталось ему.

Но действительность поразила. Все воскресные дни, нередко и вечера после работы, словно в армии, необходимо было проводить среди сверстников берлинской дружины национальной организации русской молодёжи (НОРМ). Изумлению не было предела, когда его нарядили в чёрную НОРМовскую форму с туго затянутым поясом и портупеей и заставили часами маршировать в шеренге таких же молодых людей, выкрикивая националистические лозунги, призывающие к войне с большевистской Россией под руководством великой Германии. Ему было неприятно носить чёрную косоворотку навывпуск с накладными погонами и чёрные штаны. Петь песни, прославляющие Германию, под знаком Ополченческого белого креста с золотой каймой и двуглавым российским орлом посередине. Душа противилась показному угару, этой неметчине. Положение немного изменилось, когда видя невольную реакцию новичка, с ним по-дружески заговорил начальник дружины Иван Мелких. Невысокого роста, подтянутый, не улыбочивый человек объяснил встревоженному подавленному юноше, что неметчина — лишь внешнее проявление покорности власти, что необходимо, используя эту чёрную силу, войти в Россию, а там она автоматически растворится на необозримых просторах Родины.

— Вы вскоре вступите в Русский Корпус, — уверенно говорил Иван, — и когда мы уничтожим большевиков и евреев, то займёте высокое положение в России.

Он такое слышал и во Франции, среди скаутов, и не мог согласиться. Словам начальника не поверил, видя, как искренне новые сверстники восхваляют нацизм и Гитлера. Неприязнь росла, но деваться было некуда. Не с кем поговорить, посоветоваться.

Родилась даже мысль плюнуть на всё и как-то добраться до отца, в Париж. Где-то затаиться. Переждать чёрное время. Но судьба вела другим путём.

Прошло два месяца. Как-то один из сверстников по дружине пригласил пройтись. Затем зашли в пивной бар. Долго говорили о разном. Крепкое баварское пиво размягло сознание, и мой герой, поддавшись настроению, рассказал почти незнакомому человеку о себе, своих взглядах, как жилось во Франции. Только умолчал о письме Байдалакову. Тот всё слушал, приглядываясь к собеседнику, а потом негромко сказал, что давно почувствовал его неприязнь к дружинникам. И добавил, после небольшой паузы, что может познакомить с интересными людьми. Серьёзными людьми.

Мой герой внезапно попадает в совершенно иную среду. Подпольной партийной жизни. Он это почувствовал сразу. С ним долго беседовали, много спрашивали, объясняли программу партии (это был НТС), говорили о дисциплине и конспирации, так как придётся действовать в жестких нелегальных условиях. И посоветовали не выходить из берлинской дружины НОРМ. Это надёжное прикрытие.

Первое время. Оно недолго длилось. Хотя, как представить. Ведь тогда каждый день, прожитый на свободе, люди считали счастьем и, ложась спать, не знали, что их ждёт утром. В общем, прошло где-то немногим более года. Время было предельно насыщено мелкими и большими событиями. И самым большим из них стало нападение Германии на Россию. Война с Россией обострила в душе моего скаута противоречивые чувства. Им овладевала то ненависть к захватчикам, второй раз за двадцатилетие разорявшим Родину, то радость, когда слышал, как миллионы солдат сдавались немецкой армии, как радостно встречали крестьяне освободителей от кровавого бремени советской власти. Но больше всего им владела гордость, что не стал пассивным наблюдателем в борьбе двух миров. С готовностью и жадой откликался на любые задания старших товарищей по партии.

Вскоре пришлось уйти с завода и его как члена НОРМ и сына царского генерала смогли внедрить в Русское доверительное бюро секретарём директора, некоего Сергея Таборицкого, вечно полупьяного убеждённого нациста. Бюро ведало информацией

обо всех эмигрантах и сообщало полиции о политической благонадёжности каждого русского в Германии. Владимир был рад назначению и отныне тайно передавал товарищам по партии (НТС) сведения о тех, кем заинтересовалась полиция и кого неминуемо ждал арест. Их предупреждали, прятали или переправляли в Швейцарию.

Самым опасным была обратная задача. Внедрение через Русское бюро доверенных людей для работы в оккупированных российских областях. НТС задолго до официального запрещения занимался заброской агентов в СССР. И не отказался от этой мысли и после запрещения. Даже значительно расширил объёмы заброски и людей, и печатных материалов, найдя отличный канал через Русское бюро НОРМ. Подпольщики стремились создать русскую силу на русской земле.

В этой работе особо отличился мой герой. Все мысли, вся энергия сконцентрировались теперь на подпольной работе. И ранее был скромным в удовольствиях, а ныне и вовсе запретил себе и думать о них. Лишь вечерами, приходя в пансионат, растворялся в заботах хозяйки, в длинных убаюкивающих беседах о мирной довоенной жизни. Ложась спать, перебирал письма к Евгении и писал, в особо тоскливые вечера, новые.

Об опасности не думал. Необжегшаяся юность не ведала опасности, слабо заботилась об осторожности. На тайных встречах ему передавали папки со специально подготовленными документами на “благонадёжных” русских. Он и два его товарища, тоже членов НТС, работавших в Русском бюро НОРМ, закладывали документы в архив, а затем в нужный момент они появлялись среди других на столе лихого Таборицкого. Это мог делать только мой герой как его секретарь. По рекомендации директора бюро и после короткой проверки в тайной полиции, документы, а за ними и люди, шли в различные немецкие государственные организации и частные фирмы, работавшие на оккупированных территориях. Таким же образом удавалось внедрить своих людей и в “Охранные корпуса”, создаваемые для охраны военных объектов на оккупированных территориях, и на роли преподавателей в учебные лагеря, куда отбирались квалифицированные лица из военнопленных для

административной работы на Востоке. Через руки Владимира за короткое время прошли сотни папок, сотни судеб незнакомых людей.

Его заметили в НТС. Не раз хвалили и однажды на конспиративной квартире представили председателю Союза В. М. Байдалакову. В этот момент он и передал письмо от полковника Богдановича, давнего единомышленника председателя НТС. Там находилась копия той самой скаутской характеристики, в которой была дана блестящая оценка морально-волевых качеств Владимира. И записка, где, помимо прочего, просилось обратить особое внимание на юношу, преданного делу русского зарубежного политического движения, умеющему работать в молодёжной среде, увлечь людей идеями. С той поры авторитет моего героя значительно упрочился. Вскоре он становится личным секретарём председателя Союза.

Ему доверяли многое, в том числе информацию от членов НТС, заброшенных в Россию. Вести ужасны. Описывались жуткие жестокости в поведении не только тайной полиции, но и армии и немецкой администрации. Агенты сообщали, что нет в действиях немцев и мысли о создании какой-то другой России. Только полное порабощение, пренебрежение, презрение как к людям неполноценной расы... Обобщённые сведения мой герой и организованная им группа молодых друзей переправляли отделением НТС в европейских странах с предостережением о сотрудничестве с немцами и рекомендациями находить действенных союзников в борьбе с фашизмом.

В этот очень короткий период жизни, как потом окажется, юноша постоянно ощущал всё заполняющее чувство счастья и восторга. Бывало, он вдруг замирал, сердце щемило от угрозы, пугливо озирался, спрашивая себя: — что творится со мной?.. кругом голод, страх и кровь, а ты чему-то радуешься, — и, не дожидаясь ответа, продолжал выполнять поручения. Страх быстро проходил, кровь кипела от гордости.

Его арестовали в самом конце 1942-го. И потянулись годы, именно годы, постоянного ощущения боли, страха и голода.

— Выдай друзей, — хрипели следователи. Владимир молчал. Стегали кнутом со вставленными кусочками бритвы, сжимали пальцы в слесарных тисках, бросали лицом в лужу и прижимали голову до тех пор пока он, дико хрипя, не начинал захлёбываться, сажали в карцер, клетку из колючей проволоки, издевательски названную розарием, где ни встать, ни сесть, ни лечь нельзя...

Испытание болью и голодом длилось около трёх лет. Поначалу тюрьма, бесконечные дознания и пытки в лагере максимальной степени наказания Гроссбарен. Затем обвинительный приговор в подрывной деятельности и ожидание смертной казни. Таким пришивали красную полоску на рукав куртки. Наконец, перевезли в концентрационный лагерь Заксенхаузен, в барак смертников. По субботам, под звуки бодрого марша, выводили на плац, строили вокруг трёх одиноко торчащих виселиц. В жутком томительном ожидании блокфюрер громко зачитывал номера сегодняшних приговорённых, и несчастных тащили к виселицам.

Так прошло 210 суток. Тридцать выходов на плац, тридцать прощаний с жизнью, которую не успел увидеть. К этому нельзя привыкнуть нормальному человеку. Немыслимое по продолжительности ожидание смерти. Оно должно или сломать или опустошить, или ожесточить до предела сознание человека. С моим героем случилось последнее.

Ну а дальше! Дальше случилось неожиданное. Вдруг внезапно, загадочно, когда уже слышалась артиллерийская канонада наступающих союзных войск, Владимира... освободили. Попросту вышвырнули на свободу. Невероятная для той страны и немецкого менталитета история.

(окончание в след. номере)

Леонид И. Рохлин (1937, Москва). Геологический институт, экспедиции, наука, диссертации. 5 лет работы в Монголии. С началом капитализма в России — успешный бизнесмен. С 1996 г. — в Сан-Франциско. Работал педагогом в русскоязычных школах. Автор многих публикаций и нескольких книг.

Евгений Белодубровский

НЕБЫВАЛЬЩИНА

Вот скажите, случалось ли кому испытывать в какой-то момент жизни, в быту особый род назойливого любопытства к чему-то, с одной стороны, совершенно Вас никаким боком-припеком не касаемого, а с другой, — совершенно не дающего Вам покоя, пока не разрешится...

Неуёмная всеядная склонность (страсть) Владимира Набокова к каламбурам, литературным мистификациям и тому подобным изобретениям с преданным ему читателем (и взыскующей критикой) — общеизвестна. Говорят даже, что где-то по русско-американскому миру существует и собран целый словарь этих эскапад — изобретений и умыслов Набокова, который, якобы, постоянно пополняется. По мне же лично, сие лукавое разнообразие, стиль (обманка), цветность и манящая загадочность (которыми буквально завалены почти все романы, повести, рассказы и эссе Набокова) сравнимы разве что с невестами «гоголька» Ивана Федоровича Шпоньки под деревьями в саду его тетушки. Смех — смехом, но вряд ли найдется читатель или критик (повторяю: чуткий, преданный, другого не дано), который бы не поддался на этот «вызов» Набокова и едва закрыв книгу не попытался бы тут же разгадать, понять, не таится ли что «иное» за той или иной тронувшей его воображение дымчатой «проделкой» Набокова. И — бросается шнырять по словарям, бедекерам, умным книгам и трактатам. И я знаю от многих моих коллег по старательскому цеху — историков литературы, текстологов, библиографов — каких, подчас, подлинных открытий удастся достичь нашему брату на этом тернистом пути поисков и находок, особенно с середины 80-х годов, той эпохи триумфально-стремительного возвращения Набокова на родину, когда в Ленинграде возникла целая наука, посвященная персонально Набокову — «набоковедение»...

Так, да не так! Но одно дело, когда мы, потакая Набокову, ищем у него в текстах тайные смыслы и умыслы и — попадаемся, рискуем сделать какое-никакое открытие (которое, возможно, потянуло бы на добротную статью или сообщение для очередной апрельской набоковской конференции, скажем, у нас в Музее В. В. Набокова на Большой Морской, 47). Так «попался» и я...

В одном из летних номеров «Нового Журнала» за 1947 год Набоков опубликовал стихотворение под названием «Кн. С. М. Качурину» («Качурин, твой совет я принял...»). В нем автор (Набоков) рассказывает (довольно подробно) через посредство своего мнимого адресата о своей поездке в большевицкую Россию, в Ленинград и, якобы, шатается там в толпе советских людей на берегах Невы, у Ростральных колонн, «Медного Всадника». Да еще: «с книжкой Сириня в руках» (тут намек Набокова на свое же раннее стихотворение «Беженцы» 1920 г., напечатанное в те годы в берлинском «Руле», воистину проникнутое щемящей юношеской ностальгией по родному городу, чувство которое он с годами сумел преодолеть, по крайней мере на бытовом расхожем уровне).

Подано все красочно, сочно, реально и зримо. Как не поверить. Тем более, что на это время Набоков уже имел и в этом журнале, и в литературной среде своего читателя; его уже знали и как писателя узнавали... И народ «клюнул». Слух пошел! И был услышан: некоторые приняли всю эту «штуку» за чистую монету... Другие, недоумевая, но — поверили на слово... А, скажем, третьи увидели в этом тексте мотив *postalgie* — этакий неожиданный прилив нежности и тоски по невским берегам пушкинистом Набоковым («где я с Онегиным моим...»).

Но Набоков не был бы Набоковым, если бы он позабыл о какой-то давней встрече или случае, некогда

с ним бывшем: возьмет, да куда-нибудь его ввернет, обратной стороной или сбоку-припеку в романчик или в эссе, а наука потом петляет в поисках «источника». Так и тут! Проходит без малого 30 лет как эта небывальщина (визит Набокова в Ленинград) всплывает в его новом англоязычном романе «Look at the Harlequins!» («Посмотри на арлекинов», 1974): некий герой «V» отправляется в родной город Ленинград на поиски умершей сестры, ходит-бродит, узнает родимые места, улицы и так далее...

Нет, нет и нет, я даже боюсь себе признаться, чего мы лишились, какой шедевр мог бы выйти из-под пера зоркого, ироничного, незаурядного прозаика и поэта Набокова случись бы в реальности этот его потайной визит и на Большую Морскую, и в Рождество, Батово... В романе «Пнин» уже есть эти картины, герой — русский ученый и даже пытается инкогнито купить билет за город, подвергая себя риску... И вот — разгадка пришла.

1993 год, многоэтажная разноликая разноцветная Америка накануне Рождества, Нью-Йорк. Самый что ни на есть холодный метельный пепельный конец декабря. Я — в гостях (до темноты крошечной) у профессора русской литературы Марины Викторовны Ледковской, кузины В. В., в ее маленькой квартире на 19-м этаже, на самом отшибе Манхеттена. Долгая беседа, скромная гостиная, икона в красном углу, скатерка с русской вышивкой, коричневый абажур чуть ли не из ДЛТ с вытертой бахромой, как у нас дома на Желявке, скромный чай с петушком, печенье «Мария»... И мои вопросы, вопросы, вопросы о Набокове, ее матери — отце — бабушке, о Вере Евсеевне, Дмитрие, о своих внуках... Обо всем! Жадность обуяла, но ей — в радость... Мы оба немного устали. И Марина Викторовна решила поменять тему и спросила меня: какая судьба ждет их родительский дом на Большой Морской и тут же, как говорится в *pendant* (*фр.*), сама принялась подробно, живо, забавно, с картинками рассказывать о своей летней последней поездке в Ленинград на конференцию в Пушкинский Дом. Тут и Исаакий, и Медный всадник, и Нева, и Зимняя канавка — все те места, где жили, гуляли, встречали гостей и откуда уехали навсегда ее дедушка и красавица бабушка, Елена Ивановна; потом достала из

шкапчика под столом альбом фотографий той своей поездки...

И вот те на (внимание, внимание, внимание!!!): я, осмелев, перебил Марину Викторовну, и, сам того не ожидая, спросил: правда ли, мол, что ее дядя, Владимир Владимирович посетил инкогнито Ленинград сразу после войны и видел те же места, что и она, и даже катался в Рождество...

Марина Викторовна оживилась (крепкая, стройная, красивая немолодая женщина), сверкнула глазами и, волнуясь, сказала, что это все из-за того несчастного стихотворения дяди Володи к какому-то русскому князю, которого она и в глаза не видывала, наша семья с князьями сроду не водилась... И вообще (она продолжала, пишу по памяти), та история не стоит и ломаного гроша от начала до конца, и прямо беда, что многие люди поверили в эту чушь, прибавляя новые подробности (мирская молва — морская волна), что, мол, «дядя Володя» был переодет не священником, как в стихотворении, а американским полковником, почти не говорившим по-русски, и что однажды он чуть себя не выдал чекистам, пытаясь купить билет на поезд в Сиверскую за доллары...

И вдруг добавила (отчего я чуть не подпрыгнул) таким «пулеметом», что все в этом стихотворении взято умышленно дядей Володи из рассказов ее любимого дяди Коли, двоюродного брата писателя... И что дядя Коля — композитор, и впрямь был напрямую с русскими гражданскими и генералами в 45-м году в Берлине и на самой короткой ноге. И что это он действительно был в чине американского полковника, и по долгу службы постоянно, полтора года (с мая 45-го), жил и был при русской военной резиденции в Берлине. Союзники. Более того, этот военный свой френч и награды он хранил и иногда красовался в нем перед семьей и, конечно, дядя Володя все это видел и знал. Да и жили они так уж неподалеку. Дядя Коля и после войны сохранил дружбу со многими генералами и полковниками, с которыми он тянул ту ляжку по разделению Германии на зоны... И они даже потом частенько приглашали его в Москву и в Ленинград — и уже как просто друга и музыканта, родившегося в России. Я ему дважды отсоветовала сама, теперь жалею, но, кажется, он все же ездил в свою Ловчу. А вообще-то, продолжала Марина

Викторовна (уже было далеко полночь, внук Павел уже дважды звонил: скоро ли он повезет бабушкиного гостя обратно в самый центр Манхэттена, где я тогда жил), про работу дяди Коли в американской военной миссии есть целая глава в его книге о музыке и музыкантах, которую почему-то не знают и не переводят — наверное, потому что в ней почти не упоминается писатель Владимир Набоков. Через минуту Марина Викторовна принесла мне эту книгу: — Вот, Евгений, возьмите не насовсем, она с надписью мне дорогой. Оставьте в Славянском Кабинете в Публичной Библиотеке у моего кузена, внука тети Наташи, он мне передаст: мы в Сережей Ильиным в одном приходе в хоре на 93 улице, Вы же его знаете, ну да, это же он нас познакомил. Он же Вам делает копию на копировальной машине или фотоконпии пришлет. И у Вас будет...

Так и случилось! Тот милый Сергей, тучный бегающий по Кабинету чудак-человек в толстых очках и перемотанный толстым шарфом (недавно узнал, что он умер в Лондоне, жаль очень), не только сделал все, как говорится, по-путному, как указала Марина Викторовна, но и успел передать мне прямо в руки за день до вылета из Нью-Йорка.

Я вернулся на свои берега. Шли дни и дни, и все мне было недосуг глянуть в эту книгу, пока я не прослышал по Би-Би-Си, что состоится какой-то концерт из произведений композитора Николая Набокова и рассказ о нем. Вспомнился Нью-Йорк, Марина Викторовна. Я снял с полки свой самиздат и принялся листать именной указатель. И вдруг — эврика! Среди имен музыкантов и композиторов — Тюльпанов Сергей Иванович — советский полковник, военный советник. 1945. Германия. Берлин. И та история с дядей Николасом... Ха-ха! Да, я знал такого, в гостях был у него и не однажды — чаи гоняли, конечно, в Лесном, у Ливеровских на Институтском, 18. Записная книжка. Буквица «Те»: Тиме — Качаловы, Толстой Н.А, Толстой Д. А., Тюльпанов С.И, генерал в отставке, университет, кафедра политэкономии; Лесное, Институтский переулок, 18., квартира 1 первый этаж ... И телефон. Домашний...

Вот скажите, случалось ли кому испытывать в какой-то момент жизни, в быту особый род назойливого любопытства к чему-то, с одной стороны,

совершенно Вас никаким боком-припеком не касаемого, а с другой, — совершенно не дающего Вам покоя, пока не разрешится...

Я имею в виду (такая картинка с выставки), голый шаровидный череп человека под постоянно горевшей (днем и вечером) настольной лампой с абажуром в окне первого этажа старинного особняка в Лесном, который торчал у меня перед глазами всякий раз когда я проходил в квартиру к своими старшим друзьям — профессору Лесотехнической академии, писателю — охотоведу А. А. Ливеровскому и его жене — Елене Витальевне (мы дружили и дружим семьями более 30 лет). Так вот, как я ни иду к ним (к крылечку, что в торце дома по старинной тропке вдоль всех окон первого этажа, никак иначе не пройти), всегда опять это голова, почти без шеи, полумрак и абажур, хоть тресни, и я даже взял в привычку, проходя мимо, мысленно, для порядка здороваться с этой головой. И вот однажды, когда любопытство мое к этому человеку под лампой достигло предела, я решил спросить у моих друзей, что это за чудак-человек торчит у окна целыми днями?..

Оказалось, что эта лысая голова принадлежит генералу в отставке, профессору, заведующему кафедрой политэкономии университета Тюльпанову Сергею Ивановичу, поселившемуся в их доме еще до войны в пору его работы преподавателем химии Лесотехнической академии... Что он меломан, знаток европейской живописи, переводчик Гете и Шиллера — ничего себе, думаю, человечисце. Дальше-больше (рассказ А.А) — Сергей Иванович тоже из раскулаченных, крестьянский сын, рабфаковец, латыш по матери, беспризорник, красноармеец в гражданскую, а в наше время дошел до генерала... Но генерал он не боевой, а контрразведчик, пропагандист, ну а «голова»: пишет мемуары, есть что вспомнить, принимает аспирантов, программы для студентов, труженик, не затворник, он создал «школу» политэкономии (обращаю Ваше внимание: его биография, портрет в мундире есть в интернете, а также в анналах истории СПбГУ). И добавил, что может меня с ним познакомить (а заодно узнаете много нового и про Гете, и про шпионов...).

И было три встречи с упоминанием великого множества имен политиков и военных самого разного

калибра, пошиба и званий... Как немецких: В. Пик, В. Ульбрихт (соседи рассказывали, что Вальтер Ульбрихт был его самым близким другом, встречались «по домашнему») — приезжали к нему в переулок во время своих официальных визитов в СССР... Так и наших: Жуков, Чуйков. И, естественно, ученых, музыкантов, художников, поэтов...

Короче, кого душе угодно и сколько угодно (это же праздник был), но только не писателя Владимира Набокова (правду сказать, в ту пору мало кому в Ленинграде было известно имя нашего, знаменитого на весь читающий мир, писателя, да еще нашего — земляка, разве что из самиздата).

Я был счастлив.

Я родился в Ленинграде в 1941 году, 12 апреля. Житель блокадного Ленинграда (это такое «звание» я же был нулевого возраста, тут хорошего мало, благо что прибавка к пенсии, как говорится, «и то — хлеб»). Литературовед, культуролог, археограф, библиограф и краевед-старатель. Окончил Литературный Институт им. А. Горького (уже в зрелом возрасте; мастерская Е. Ю. Сидорова). Преподаватель литературы в средней и высшей школе. Член Координационного

совета Санкт-Петербургского союза ученых, член союза писателей Петербурга, международного «Мандельштамовского общества». С 1985 по 2005 год работал руководителем программ Ленинградского Отделения Советского Фонда культуры по личному приглашению академика Дмитрия Сергеевича Лихачева (чем очень горжусь). Участник международных конференций, посвященных жизни и творчеству Ломоносова, Пушкина, Грота, Достоевского, Блока, Набокова, Мандельштама, Струве, Анциферова, Бианки и др. В 1997, 1999, 2001, 2003, 2007, 2011 и 2015 г.г. по приглашению Нобелевского Комитета присутствовал на церемонии присуждения Нобелевской премии в Стокгольме (мой «Рекорд Гиннеса»). Главный труд: участие в Авторском Коллективе Словаря «РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ. 1800–1917». Том 1–5. Изд-во «Российская энциклопедия», Москва (автор около 50 статей). Автор публикаций в «Новом мире», «Звезде», «Неве», «Вопросах Истории», «Русской литературе», «Байкале», сборниках РАН «Памятники культуры. Новые открытия». Также: «День и Ночь», «Новый Журнал» (США), «Знамя», «Вестник РАН РФ», «Родник знаний», «Уральский следопыт», «Весть», «Пламя», «Антени» (София) и мн.др.

Давид Шраер-Петров

ИГРА В БУТЫЛОЧКУ

роман

(продолжение, начало в № 97, 107–108, 109, 110)

Вставной текст

Наступила темень и глухая ленинградская осенняя ночь. Почти вся компания разъехалась. У Дани в двух комнатах оставались самые близкие друзья. Да и те с подругами парами разбрелись по кроватям и кушеткам/диванам. Данина мама — экономист заводского цеха — была послана профсоюзом по бесплатной путевке отдыхать и лечить нервы в Кисловодск. Все в те годы любили отдыхать бесплатно и лечить расшатанные нервы. У Дани образовалась свободная хата (комнаты) почти на месяц. Конечно же, все узнали о свободной хате, и, в первую очередь, Димка Бонч и Борька Рябинкин. Был среди гостей и приятель по медицинскому институту Рудик Ефименко, говорун и шутник. Он пришел с двумя диванами из Дома Моделей, где царствовал в те годы модельер Зайцев. Перед тем как улечься, Даня Раев обошел комнаты. Все уgomонились и спали парами или поодиночке, как случай распорядился. Моя кушетка была занята. В темноте я разглядел, что на кровати, оперевшись на подушки, полусидят/полулежат манекенщицы, которых привел Рудик Ефименко. На краю кушетки сидел Рудик и страстным шепотом в чем-то убеждал манекенщиц, показывая, что между ними остается довольно много места, чтобы и он поместился. Они меня не видели и вполне разместились. Рудик продолжал рассказывать им что-то очень веселящее. Так что, несмотря на смешные штуки, которые слушали манекенщицы, и которые я бы тоже послушал с удовольствием, сказано все было таким заговорщицким шепотом, в расчете на то, что мне надоест вслушиваться. Так и было. Мне надоело, и я убрался в квартиру, где жил Борька

Рябинкин (через площадку от моей), чтобы досыпать. Утром, когда я вернулся к себе, почти все ночевавшие проснулись и гоняли чай за столом. Рассказывали анекдоты, девушки приводили себя в порядок. Рудик с лихвой пересидел всех и теперь мирно спал в окружении прекрасных манекенщиц.

Никакой опыт не проходит даром. А что, если существует в природе «обратный опыт»? То есть ты проживаешь вперед то, что по времени еще не подошло к сюжету твоей жизни. Я пересидел Мишу-офицера. Я обладал Маринкой! Не только ее губами, которые я изучил за многие годы игры в бутылочку, но теперь всей этой прекрасной молодой женщиной, которую я любил и страстно желал с отроческих лет и до юности, которая вот-вот шагнет в молодость взрослого мужчины. Словом, цель моей жизни была достигнута. Как ни странно, Маринка тоже была девственницей. Я был девственный мальчик-первокурсник. Она девственная аспирантка в лаборатории токсикологии, руководимой Абрамом Борисовичем Бурштейном. Я не видел Марину несколько дней после той знаменательной игры в бутылочку. Не дождавшись Марины больше трех дней, я бросился к Бончам, вскочив в трамвай номер 18 на углу улицы Льва Толстого и набережной речки Карповки. «Звения и подпрыгивая», как тот деепричастный пятак из всех на свете грамматик, трамвай высадил меня неподалеку от дачки Бончей. В доме был истинный переворот. Какие-то не знакомые мне люди деловито замеряли ширину и высоту деревянной винтовой лесницы на второй этаж, ставили временный стол в гостиной, заносили в дом из подъехавшего грузовичка складные стулья. И варили, пробовали, обсуждали разнообразные блюда. В том числе, и популярнейший студень/холодец из копытцев теленка, треску по-гречески,

заливную рыбу и всякие виды колбас, копчений и сыров. На меня никто не обращал ни малейшего внимания, включая бабушку Димки и Маринки. Словно я был обыкновенным знакомым, соседом, а не... Я не знал, к какому положению в доме Бончей, после произошедшего между мной и Мариной, я приравниваюсь. Мне казалось, что случилось самое важное из того, что записано в Книге Судеб, если поверить в правду, излучаемую Священными Книгами моего народа. Я так и стоял у основания винтовой лестницы, не зная, у кого спросить, что происходит. Голос Марины вывел меня из состояния ступора, в которое начал впадать от недоброго предчувствия. Голос Марины вернул меня к реальности: «Даня, поднимись ко мне. Нам надо поговорить». Я поднялся. Марина села на кровать, а мне жестом показала на стул. «Марина, что происходит в вашем доме? — спросил я. — Почему ты не в институте? Я заходил в лабораторию. Абрам Борисович сказал, что ты взяла несколько дней в счет отпуска. И Димку нигде не мог найти». «Даня, пойми меня, как может понять только родной человек. Я выхожу замуж за Мишу-офицера». Я молчал, подавленный новостью. Идиотской. Неожиданной. Трагической. Потому что произошедшее между мной и Мариной в моем представлении оценивалось шекспировскими категориями («Ромео и Джульетта»), а здесь на фоне комического затаскивания в дом складных стульев и лезущей во все щели гостеприимства мещанской кулинарии вспоминались куски из Зоценко, Ильфа-Петрова и раннего Заболоцкого («Столбцы»). «Ты с ума сошла, Маринка? Скажи, ты шутишь, и все эти столы-стулья, холодцы и ватрушки — дурацкий розыгрыш? Но кого и кто разыгрывает. Скажи, Маринка, или я сам сойду с ума?!» «В том то и дело, Даня, это не розыгрыш, а подлость, на которую я пошла после того, что между нами было. Но все-равно я тебя больше всех люблю, Даник». Я продолжал молчать. Да и что я мог сказать? Это, как солнце, если бы оно перестало светить. И началось всеобщее вымирание. Марина поняла мое молчание. «Даник, мне показалось тогда, что ты... Мы оба были неосторожны. Я страшно испугалась. Ведь ты еще мальчик, а если я окажусь беременной... В общем, прости меня, Даня, за подлость или хитрость, или еще за что-то, в чем виновата не

я, а общепринятая мораль, я пообещала Мише-офицеру, что приеду к нему. Кончилось тем, что я приняла его предложение». Я слушал эти откровения Марины с каким-то ужасом. По-другому я не мог назвать произошедшее между мной и Мариной, а потом — между Мариной и Мишей-офицером.

Зачем же говоришь банальности, ведь ты словарь оригинальностей?!!

Все произошло и начало развиваться в традициях классического романа конца 19-го века. Марина приняла на себя роль жены моряка, ушедшего в дальнее плавание, богато расшитое темно-фиолетовыми цветами бурь и алыми цветами океанских закатов. Нечто подобное произошло и на самом деле, только в советском трагикомическом изложении. И как в банальном ходе сюжета, Мишу-офицера направили на подводную лодку, которая отправлялась в плавание с особо секретным заданием государства Израиль. И еще через несколько месяцев Марина получила похоронку — зеленый бланк, на котором было написано, что ее муж, капитан-лейтенант военно-морской медицинской службы — Михаил Евграфович Лапин погиб смертью героя при выполнении важного задания командования военно-морским балтийским флотом. Хоронить было нечего. Ни урны, ни карты с изображением места на море (или в океане), где погиб Миша-офицер, Марине не сообщили. Марина была беременна. Оставалось три с небольшим месяца до родов. Меня грызли сомнения, справедливо ли будет, если родится ребенок, которому дадут фамилию Миши-офицера — Лапин или Лапина (если родится девочка).

Конечно, мы с Димкой Бончем когда-то были самыми близкими друзьями. Но он был далеко в ссылке или, правильнее сказать, в месте поселения, а затем — отсидки в одном из лагерей ГУЛАГа. Однажды я встретил Марину, и мы договорились пойти вместе перекусить в кафе «Снежинка» на площади Льва Толстого. Она сразу же согласилась. Марина все так же волновала меня, как в подростковые годы. И, конечно, в тот роковой период, когда я дьявольски ревновал ее к каждому встречному и поперечному. И когда зародилась новая жизнь, о которой одна

только Марина могла с определенностью сказать, что она или он — мальчик или девочка — не мишины, а мои. Неожиданным оказалось, что, применяя самый банальный глагол, я мог абсолютно точно признать, что я люблю Марину и что она волнует меня по-прежнему. Она стояла на пороге «Снежинки», а за миг до этого красивая молодая женщина верхом на большом голубом воздушном шаре выкатилась из таксомотора и подплыла из глубин московского городского океана ко мне. Я обнял и понес ее вместе с голубым шаром и с мальчиком внутри (несомненно, мальчиком! Хотя, и девочка хороша!), который был готов вылететь в земную жизнь с мамой Мариной и папой Даней. С этого мгновения никаких сомнений не было ни у нее, ни у него. Скоро, вот-вот народится мальчик Петенька у мамы Марины Бонч и папы Даниила Раева.

Они зашли внутрь «Снежинки». Заказали традиционные в этом кафе сосиски «московские» с тушеной капустой, а потом кофе с крыжовниковым пирогом (фирменное блюдо этого заведения) и по большому бокалу грузинского вина «Мукузани». Решили завтра же пойти в ЗАГС и стать мужем и женой. Вскоре родился Петенька Раев, и о Мише-офицере напрочь забыли. Возможно ли это? А тут еще всплыла почти что легенда о Димке Бонче.

Самым главным, как оказалось на деле, было найти Димку Бонча и его семью, и вернуть их в Москву.

Вспомнился случай, произошедший с моим дядей, полковником медицинской службы, видным хирургом Израилем Соломоновичем Шифманом. Он вернулся с войны руководить кафедрой госпитальной хирургией в Винницком мединституте. Но в конце сороковых началась оголтелая антисемитская кампания, закончившаяся убийством Михоэlsa и делом врачей. Дядя Израиль уехал в Сибирь руководить кафедрой хирургии в Новокузнецке. Постепенно слава его превратилась в местную легенду (Новокузнецк, Омск, Таганрог).

Дорогие маринка и даня не удивляйтесь неожиданному письму и телеграфному стилю вполне в духе раннего эренбурга и позднего сапгира и еще и еще раз не обижайтесь за молчание, затянувшееся в десяток лет и за многие разговоры, которые предстоят

нам когда я приеду в москву, можем ли мы остановиться не более чем на полгода у маринки или у раевых? жизнь моя и моей семьи претерпела множество приключений будет рассказов на книги, но ни книг, ни жалоб не пишу дам знать, когда и где нас встречать ваш бонч.

Конечно же, Даня и Марина тотчас вспомнили о загадочном полугодовой давности госте — бывшем вице-прокуроре Камчатки. Он собирался поступать в доктурантуру при кафедре юриспруденции Московского университета. Никакого Льва Давидовича Локшина — вице-прокурора Камчатки там не оказалось. Что касается будущего (Даню и Марину обнадежили), то не исключено, что Л. Д. Локшин приступит к доктурантуре в начале будущего учебного года. Вполне понятно, о нынешней судьбе Вадима Сергеевича Бонча и его семьи (Марии Леонидовны Цыплаковой и Сережи Бонча) никто им вразумительно не отвечал. В одном лишь ответе на запрос было замечено, что из места предыдущего поселения они уехали. Но куда? Было бы самым логичным предположить, что в Петропавловск-Камчатский.

Марина и Даня сидели в своем излюбленном уголке на кухне перед телевизором, купленным еще профессором Сергеем Владиславовичем Бончем. По странному стечению обстоятельств нынешнего повествования, последним местом экспедиции профессора был один из действующих и проснувшихся ко времени выбора маршрутов вулкан. Профессор Бонч глубже других сотрудников экспедиции спустился в кратер вулкана. Лава изверглась раньше, чем предполагалось. Профессора не удалось спасти.

«Знаешь, Мариночка, если Димка получил разрешение вернуться в Москву, то он обязательно вначале отправится на розыски могилы отца — того именно кратера». «И что, по-твоему, Даник, должны мы делать сейчас? Ведь Димка запретил его разыскивать». «Я бы на нашем месте отправился к этому вулкану, — предположил Раев. — Димка наверняка там. Не может он возвращаться в Москву, пока не разыщет могилу отца». «Все это правильно, Даня, если Димка на свободе». «И ко всему этому приложил дружескую и даже родственную руку вице-прокурора Камчатки, наш таинственный гость и даже родственник по моей линии — Лев Давидович Локшин», согласился

с Мариной Даня. «Откровенно говоря, мы должны отправиться на Камчатку вместе, — сказала Марина. — Но с кем оставить Петеньку?» Так на семейном совете решено было, что на Камчатку отправятся Даня и Марина. Мы, как всегда бывает в либеральных семьях, взяли с собой Петю.

Странные обстоятельства встречаются каждому. Не успела Марина войти в лабораторию, как Абрам Борисович пригласил ее в свой кабинет. — Есть важные новости, Марина: Дима переехал с семьей на Камчатку. — Что, снова на поселение? — ужаснулась Марина. — Нет, на этот раз совершенно по своей воле. Он открывает там научную лабораторию по изучению терапевтических свойств *воготала* — экстракта из грибов-галлюциногенов.

Словно бы подготовленный к потрясающей новости, что вице-прокурор Камчатки и одновременно мой родственник Лев Давидович Локшин не зря к нам приезжал: — А, Маринка? — Согласна! Ты полугений, Даник, потому что гений — мой брат Вадим Сергеевич Бонч!

А дома, начисто забыв о Бонче и оборвав серьезный разговор, Даник привлек к себе Марину и начал играть пальцами на клавиатуре небесной гармонии, когда одежда начиная с кнопочек-клавиш кофточки, сотканной из разноцветных геометрических фигур, начинает постепенно разгоняющуюся, столь знакомую и каждое соитие разнообразную прелюдию оргазма. Они перебрались из крохотной комнаты-библиотеки, превращенной в музей памяти отца, в свою комнату. Дом был еще пуст. Оставалось пару часов до того, как няня-Капитолина (отчества ее никто не знал, равно как и адреса/телефона) приведет Петеньку с детской площадки. Они перебрались в спальню. Сколько раз они менялись местами в душе, смывая следы спермы, смешанной с шампанским ненасытного влагища! В конце концов, этот самый искренний и самый чувствительный во всей природе компьютер сказал им: — Поезжайте в Петропавловск-Камчатский. Там все и откроется.

Я помню отчетливо тот день и час, когда в ответ на нашу телеграмму вице-прокурору Камчатки, который когда-то приезжал в Москву и феерически

одарил нас множеством самых дефицитных консервов, немедленно пришел ответ:

«Что с вами, Даня? И что с Мариной? Очень рад вашему решению. Приезжайте немедленно, пока я не изменил местожительства, согласно моему плану. Ваш Локшин, Л.Д.»

«У вас вид, как у марафонца, заждавшегося пистолетного выстрела. Стартового, разумеется! Конечно, немедленно берите билеты до Петропавловска. «А Петя?» — слабо сопротивлялась Марина. Но тут я решил проявить мужскую волю: «Наука требует жертв!» Петю решили взять с собой. Тем более, что Димка в самом прямом смысле пожертвовал свободой ради получения *воготала*.

«По-моему, никакая даже самая радикальная мысль не стоит человеческой жизни».

«Стоит, если это абсолютная истина, — возразил доктор Бурштейн. И добавил: — Думает ли он и теперь, что это истина?» Я ответил: «У нас появился шанс повидаться с Димкой, а, может быть, помочь ему выбраться к нам». Маринка и Абрам Борисович немедленно с этим согласились. — И больше никаких игр в бутылочку! Отказаться даже от воспоминаний об этом гениальном инструменте для создания Димкиных социальных схем! — и вы и он откажетесь навсегда! — Тем более, что при Димке — бдительный цербер (по описанию нашего камчатского родственника) — жена Мария Леонидовна Цыплакова.

«Вблизи бухты Авачинской действующий вулкан, — театрально произнесла Марина (Бонч), размахивая географическим справочником, как будто томиком избранных сочинений именитого сибирского автора. — Там погиб наш отец».

Тут кстати вставить в текст романа давнишнюю жестокую историю, относящуюся к моим студенческим годам в ленинградском медицинском институте. К молодым сочинителям, принадлежавшим к нашему кругу, относились также и их поклонники — глашатаи новой поэзии. Каждому или каждой было около 20–25 лет. Казалось, что трубадуры знали больше, чем сами поэты о том, что и кем к тому времени написано и, главное, — что и как будет написано. Одним из самых преданных молодой ленинградской поэзии был Эмик Штернберг — аспирант отдела сейсмологии ленинградского Горного

института. Две музы владели душой и разумом Эмика — муза огня и муза гармонии. Именно поэтому, я не сомневаюсь, Эмик мгновенно слышал и фиксировал в своей полифонической памяти любую фальшивинку в настроении и построении прочитанного стихотворения и, одновременно, силу звуковой волны камушка, подброшенного или уроненного под колеса автором прочитанного стихотворения. К нему на первое прослушивание шли как к многомерному камертону-сейсмографу. С другой стороны, Эмик Штернберг был предан своей горняцкой профессии и физическим наукам. Он разрабатывал гипотезу возможности использования энергии извержения вулкана, научился собирать в аккумуляторы солнечную энергию, энергию ветра и волн. Давняя гипотеза Эмика заключалась в возможности аккумулировать энергию действующих вулканов. Нужно было только разработать приемник для этой энергии вроде пьезо кристалла и сконструировать модель для «вживления» этого пьезокристаллического приемника внутри кратера. Подходящий для такого приемника материал — вот что искал Эмик Штернберг.

Каждую весну Эмик улетал с группой студенто-горняков на Камчатку, чтобы «изнутри» наблюдать за созревающим к извержению или начавшим извергаться Авачинским вулканом. Замеры выполнялись, главным образом, на склонах вулкана вблизи от кратера. В редких случаях по приказу Эмика (начальник экспедиции) канатная лестница опускалась внутрь кратера. На конце лестницы закреплялись фото — и кинокамера и даже магнитофон, чтобы записать нутряные рокоты извергающегося вулкана. Время от времени Эмик с одним из студентов тоже спускался внутрь кратера. Замеры велись при относительно спокойном вулкане. Но однажды научное нетерпение взяло верх. Извержение набирало силу. Несмотря на уговоры соучастников по экспедиции Эмик опустился глубоко внутрь кратера. Извержение развивалось. Он не отвечал на условное подергивание каната, к которому привязывал себя. Канатную лестницу вытащили с привязанным к ней изуродованным телом Эмика. Вероятнее всего, он был убит камнями, извергавшимися из кратера.

Представим себе, что жизненная история профессора геологии — отца нашего Вадима Сергеевича Бонча повторилась в судьбе Эмика Штернберга.

— Надо ехать в Петропавловск-Камчатский немедля! — сказала Марина. — Мне почему-то кажется, что в окрестностях вулкана Авачинского мы встретим Димку. — С Богом! — отозвался Абрам Борисович. — Пойдемте оформлять командировочные и заказывать билеты до Петропавловск-Камчатского.

Еще до полного официального освобождения от принудительного поселения доктора Бонча и его семьи было решено, что на первое время они поселятся в окрестностях Авачинского вулкана. Место врача-терапевта было подготовлено для Бонча. И поблизости от сельской больницы — изба, где поселились Бончи. В одном из крыльев избы размещалась клиническая лаборатория, где Бонч исследовал *воготал*.
(продолжение следует)

Давид Шраер-Петров (David Shroyer-Petrov) родился в Ленинграде в 1936 году. В детстве был в эвакуации на Урале. Народная жизнь и незамутненная речь вошли в его прозу и стихи сюжетами, соприкасающимися с таинством воображения, и словарем, насыщенным фольклором. Рано войдя в литературу как поэт-переводчик, Шраер-Петров написал много стихов о любви, которые, преимущественно, были знакомы публике по спискам («Ты любимая или любовница»; «Дарите девушкам цветы»; «Моя славянская душа»), постепенно входя в его книги стихов и антологии. В 1987 г. эмигрировал в США. Оставаясь приверженцем формального поиска, ввел в прозу жанр «фантеллы». Его эссе «Искусство как излом» развивает парадоксальность работы Виктора Шкловского «Искусство как прием». Шраер-Петров опубликовал двадцать книг: стихи, романы, рассказы, мемуары. В России стал известен его роман «Герберт и Нэлли», изданный в 1992 в Москве и номинированный на Русского Букера в 1993 (длинный список). Роман «Савелий онкин» (2004) был в числе претендентов на Русского Букера-2004 (длинный список). В США в 2003 г. вышла книга его рассказов «Иона и Сарра» («Jonah and Sarah») в переводе на английский язык.

Лев Бердников

СОЖЖЁННЫЕ ЗАЖИВО

Теплым петербургским летом 1738 года на фасадах домов и фонарных столбах города было приметно объявление: “Сего июля 15 дня, то есть в субботу, по указу Ея Императорского Величества имеет быть учинена над некоторым противу истинного Христианского закона преступником и превратителем, экзекуция на Адмиралтейском острове, близ нового гостиного двора. Того ради публикуется сим, чтоб всякого чина люди, для смотрения той экзекуции сходились к тому месту означенного числа по утру с 8 часа”. “Преступником” был отставной капитан-поручик Александр Артемьевич Возницын (1701–1738), отрекшийся от православия, а “превратителем” — еврей-откупщик Борух Лейбов (1663–1738), якобы обративший его в иудаизм. И сих “беззаконников” надлежало “казнить смертью и сжечь”.

Экзекуция состоялась в день Святого Владимира, когда дозволено миловать даже закоренелых убийц, но только не врагов Христовой веры. А для двоих приговоренных, дюжего русоголового мужчины и седовласого широкобородого старца, была Божественная суббота, а в этот день, как учит Тора, работать правоверным евреям возбраняется. Да и вообще (прав кенигсбергский раввин Лейб Эпштейн!), летом в этом Петербурге иудею жить просто невозможно — наступают белые ночи и поди попробуй разберись, когда утренняя, а когда вечерняя молитва. Однако ребе ни словом не обмолвился о том, позволительно ли еврею в сей Северной Венеции умирать! Вроде не упомянул об этом, а то, что прямо не запрещено, дозволяется. И вот сейчас, в субботу, они — слава Всевышнему! — заповеди не нарушают, ибо не трудятся вовсе, а только обреченно идут на эшафот, как на заклятие, под

гиканье и улюлюканье толпы иноверцев. Причем русоголовый всячески ободряет широкобородого: “Борух, не торопись!” (на языке того времени это означало: не бойся, мол, Борух, не робей!).

Современный графоман-юдофоб Анатолий Глазунов сетует на то, что рисунков сей казни не находится, и обвиняет русских художников в “постыдной трусости”. По его же разумению, картина с изображением, “как сжигали жида-мясника и поганого капитана”, должна быть вывешена на самом видном месте в Русском музее — на радость таким же, как он, лютым “патриотам” и в назидание всему крещеному миру! Однако в XVIII веке российские власти, хоть и относились к иудаизму несколько не лучше Глазунова, не пожелали громогласно заявить о предании огню “кощунников”. Показательно, что газета “Санкт-Петербургские ведомости”, внимательно читавшаяся при дворах Берлина, Парижа и Лондона, об этом скромно умолчала.

Некоторые историки пытаются представить аутодафе Возницына и Лейбова как беспрецедентный и чуть ли не единичный случай в России XVIII века. Между тем, в годы правления ортодоксальной Анны Иоанновны, строго каравшей всех религиозных отступников, сжигали заживо не столь уж редко. Так, в 1730 году сторели “богохульники” солдат Филипп Сизимин и дворовый Иван Столяр; в 1736 году такой казни подвергся знахарь Яков Яров; а в одном только 1738 году в огне погибли 6(!) человек. Оторопь берет от дела о сожжении татарина Тойгильда Жулякова, который, по словам доморощенных инквизиторов, “крестясь в веру греческого исповедания, принял снова магометанский закон и тем не только в богомерзкое преступление впал, но, яко



пес, на свои блевотины возвратился и клятвенное свое обещание, данное при крещении, презрел, чем Богу и закону его праведному учинил великое противление и ругательство”.

Чтобы представить себе, как сие могло произойти, перенесемся в Петербург 30-х годов XVIII века. До нас дошло описание одного аутодафе, свершившегося в 1736 году. Это свидетельство о сожжении двух злоумышленников оставил шотландский врач Джон Кук: “Каждый мужчина прикован цепью к вершине большой, вкопанной в землю мачты; они стояли на маленьких эшафотах, а на земле вокруг каждой мачты было сложено в форме пирамиды много тысяч маленьких поленьев... Мужчины стояли в нижних рубашках и подштанниках. Они были осуждены на сожжение таким образом в прах... К пирамиде дров был поднесен факел и, поскольку древесина была очень сухой, пирамиды мгновенно обратились в ужасный костер... Мужчины умерли бы быстро, если бы ветер часто не отдувал от них пламя; оба они в жестоких муках испустили дух меньше чем через три четверти часа”. Таков был обычный порядок.

Какая же сила, какая злодейка-судьба раздула пламя костра, где погибли наши друзья-единоверцы? Как пришли они к смерти такой?

Они познакомились и душевно сблизились в 1736 году в Москве, где тогда жили, и часто вели жаркие споры о Боге и сотворении мира, обсуждали вечные вопросы смысла бытия. Ко времени судьбоносной для обоих встречи каждый из них прошел немалый жизненный путь.

Борух Лейбов был родом из Дубровны, польского местечка, что в 80 верстах от Смоленска, игравшего тогда заметную роль в общественной жизни евреев (здесь проходили совещания белорусского ваада). Он был успешным откупщиком, занимался в 1717–1722 годах таможенными и кабацкими сборами на Смоленщине, вел торговые дела в Москве, а также в Петербурге, частенько туда наезжая. Его поддерживал придворный еврей, финансист Леви Липман.

Израильский писатель Давид Маркиш в своей книге “Еврей Петра Великого, или Хроника из жизни прохожих людей” (2001) живописует Боруха тонким знатоком религиозных обрядов и ведущим пасхального седера. Он и в самом деле был

вовлечен в жизнь религиозных евреев обеих столиц, вдохновителем и своеобразным центром которой был влиятельный “придворный жид Липман”. Лейбов был весьма сведущ в духовной литературе, особенно в Торе, Талмуде и Махзоре. Кроме того, он выполнял обязанности шойхета (резника), что отчасти позволяет судить и о его моральных качествах: ведь согласно иудейской традиции, резник непременно должен быть человеком порядочным и богобоязненным.

Имя Лейбова встречается в русских документах с 1722 года. Именно тогда, 28 ноября, в Синод поступил извет от смоленских мещан Герасима Шилы и Семена Паскина. В нем говорилось, что со времени присоединения Смоленского края к России (а именно с 1654 года) “жидовская поганая вера искоренена была без остатка”, но вице-губернатор князь Василий Гагарин самовольно допустил сюда евреев в кабацкие и таможенные откупа. Те размножились и “старозаконием своим превращают в жидовство христиан”, заставляют их работать в воскресные дни и православные праздники, “отвращая от Церкви Божьей”. Евреи будто бы продают мертвечину и “нечистые кушанья, не освященные молитвой”, оскверняя тем самым простой народ. А один из супостатов, откупщик Борух Лейбов, ругался Христовой вере и до того обнаглел, что дерзнул построить в сельце Зверовичи “жидовскую школу” (синагогу) прямо рядом с церковью Николая Чудотворца. А когда тамошний священнослужитель отец Авраам “в строении школы в басурманской их вере укоризны чинил”, Борух помянутого Божьего пастыря “бил смертно и голову испроломил и, оковав, держал в железах”, а хотя потом и освободил, “от того жидова мучения священник одержим был болезнью, и, не освободясь от нее, умер”.

В том же году был подан и другой донос на Лейбова, состряпанный отцом Никитой Васильевым и дьяконом Григорием Никифоровым, якобы жид Борух и его жена мучили булавками и иглами служившую у них крестьянскую девицу Матрену Емельянову, чтобы извлечь из нее “руды” — захотелось нехристям христианской кровушки!

Как отмечал историк Илья Оршанский, многочисленность преступлений, инкриминируемых Лейбову, “невольно вызывает сомнение в их действительности”. И в самом деле, есть сведения, что служитель культа Авраам умер вовсе не от “жидова мучения”, а от беспробудного пьянства. Что до прозелитской деятельности Боруха среди русских простолюдинов, то возможность ее исключает даже такой замшелый юдофоб, как Иполлит Лютостанский: “Религиозная пропаганда не слишком сродна и близка духу еврейского народа, — комментировал он этот эпизод, — непосредственное миссионерство чуждо иудеям”. Обвинения же в кровавом навете и продаже мертвечины — это знакомые антисемитские клише, заимствованные из соседней Польши и, по-видимому, приписанные доносчиками Лейбову, дабы отстранить от откупов удачливого конкурента.

Святейший Синод, между тем, отнесся к доносам самым серьезным образом и представил дело как крайне опасное. В этом может быть усмотрена традиционная вражда православного духовенства к иудеям — роду, по мнению многих попов, “строптивому и изуверному”. Синод тут же распорядился построенную Борухом синагогу, “противную христианской вере”, разорить до основания, а обретающиеся в ней “книги прелестного содержания” собрать и сжечь “все без остатку”. Святые отцы обратились в Сенат, требуя расправиться со злокозненным Лейбовым, а также “разыскать со всяким прилежанием и истинно, какие противные благочестию от сих жидов пакости происходили”. Настаивали они и на примерном наказании вице-губернатора Гагарина, который открыто сим “врагам Христовым” потворствовал. Старцы повелевали “учинить ко изгнанию из оной Смоленской провинции всех тамо обретающихся жидов за границы Российские”, чтобы “никогда бы в тех странах, где православных жительство имеется, никакого пристанища и жительства им не было”.

Сенат выполнил требование уничтожить синагогу и предать огню молельные книги (для

сих целей в село Зверовичи был отряжен бра-
вый капрал Степан Кочкин). Что же до пункта
о поголовном выселении иудеев из Смоленска,
то здесь сенаторы ослушались духовные власти
и в деятельности вице-губернатора никакого кри-
минала не усмотрели. Ведь еще “тишайшим” ца-
рем Алексеем Михайловичем установлено было:
всем лицам, в присоединенных от Польши обла-
стях проживавшим (и евреям в том числе), раз-
решено оставаться на прежнем месте. При этом
и иудеи, осевшие там ранее, не подвергались
ограничениями в правах жительствова, торговли
и промыслов в России. Потому донос, в коем го-
ворилось о якобы незаконном их пребывании
в крае, заключал в себе одну только ябеду на вла-
сти и в расчет принят не был.

Сам же обвиняемый Лейбов нашел себе защит-
ника в лице влиятельного генерал-рекетмейстера
(он “ведал управлением дел челобитчиковых”)
Матвея Воейкова. Тот заявил, что Лейбов ему
ведом, поскольку еврей этот приезжал иногда по
важным казенным делам в Петербург. Воейков
настолько расположился к Боруху, что взял его
на поруки и тем самым спас от преследования.

Упомянут указ от 26 января 1725 года за под-
писью императора Петра Великого о лишении ев-
реев откупов на Смоленщине. Однако подлинник
этого указа не обнаружен; кроме того, даже если
таковой и был, то подписан за два дня до кончи-
ны Петра, когда царь был уже прикован к постели
и вполне очевидно, что за подобным указом сто-
ял “полудержавный властелин” Александр Мен-
шиков, антисемит самого непримиримого свой-
ства. Достаточно вспомнить инициированные им
обвинения вице-канцлера Петра Шафирова в со-
крытии иудейского происхождения или распра-
ву над своим шурином, этническим евреем обер-
полицмейстером Антоном Дивьером, которого
он в конце концов упек в Якутский острог (хотя
все это не мешало Данилычу пользоваться услу-
гами “полезного” придворного еврея Липмана).

Вполне вероятно, что именно Меншиков был
вдохновителем дискриминационных анти-еврей-
ских мер, предпринятых во времена правления
Екатерины I. Кстати, именно по ее монаршему

повелению от 14 марта 1727 года, из сельца Зве-
ровичи предписывалось выслать всех иудеев,
в том числе и Лейбова, за рубеж, а “сборы отдать
на откуп всем, кроме жидов”. Через полтора ме-
сяца последовал и другой ее именной указ, отно-
сящийся уже ко всем без исключения представи-
телям еврейского племени: “Сего Апреля 20, Ее
Императорское Величество указала: жидов, как
мужеска, так и женска пола, которые обретают-
ся на Украине и в других Российских городах,
тех всех выслать вон из России за рубеж немед-
ленно, и впредь их ни под какими образы в Рос-
сию не впускать и того предостерегать во всех
местах накрепко...”

Неизвестно, оставил ли тогда Борух свою пред-
принимательскую деятельность на Смоленщи-
не, только после падения “прегордого Голиафа”
Меншикова положение евреев в империи не-
сколько улучшилось. 22 августа 1728 года импе-
ратор Петр II разрешил им приезжать в Мало-
россию на ярмарки “для купеческого промыс-
ла”. А вступившая затем на престол Анна Иоан-
новна 11 сентября 1731 года распространила это
разрешение и на Смоленский край. В 1734 году
евреям была позволена розничная продажа то-
варов, хотя (и это действительно подчеркивалось
в указах) жить в России постоянно им по-преж-
нему возбранялось. Однако — вопреки всем за-
претам! — таковое разрешение Лейбову испро-
сил непотопляемый Леви Липман, и откупщик
был как раз тем исключением, которое лишний
раз подтверждало правило.

По своим торговым делам Лейбов часто бы-
вал в Первопрестольной. Здесь-то он и встретил
этого русского, замечательного тем, что тот вел
разговоры исключительно о Боге и жадно ин-
тересовался догматами и обрядами иудейской
веры. Звали его Александр Артемьевич Возни-
цын, и был он отпрыском древней дворянской
фамилии, внесенной во II часть родословной
книги Владимирской губернии. Пращур ро-
да Возницыных Путило был ведом в Новго-
родской республике, где не боялись свободно-
го слова, распространились ереси стригольни-
ков и “жидовствующих”, спорили до хрипоты

о Боге и сущности веры. Предки Александра торговали с заморскими странами, занимали выборные должности, а после падения Новгорода под натиском рати великого князя Ивана III перешли на службу к московскому царю. Наибольшую известность получил Прокопий Богданович Возницын — видный дипломат при Алексее Михайловиче, Федоре Алексеевиче, но особенно проявивший себя при Петре I, когда в составе “Великого посольства” 1697–1698 годов они под водительством императора колесили по Европе, выполняя важную государственную миссию. Возведенный Петром в должность думского советника, этот, по свидетельству современников, “высокий, грузный и необщительный человек... с неприятным лицом и важной осанкой”, проявил настойчивость, твердость, изрядное упрямство в достижении целей, обладая при этом известной гибкостью и чувством юмора, иногда доходящим до сарказма. Его брат, отец нашего героя, Артемий Богданович, тоже какое-то время служил по дипломатической части, а затем стал дьяком Разрядного приказа и был не последним участником московской городской реформы.

Говорили, Александр и внешне походил на отца и дядю (высокий рост, стать, русые волосы, большие серые глаза), а еще его отличала особая возницынская “упрямка” — до всего дойти хотел своим умом, а коли доищется, на своем будет стоять и нипочем не отступит. Русской грамоте его обучал на дому словолитец Московской типографии Михаил Петров. Именно этот учитель заронил в нем и интерес к древнееврейскому языку, который знал и называл “святым”, цитируя мальчику Ветхий завет: “Рече Господь к Моисею, рцы сыновом Израилевым вы есте речение церковное и язык святыи”. Петров рассказал ему и о 613 заповедях, которые сыны Израилевы старались неукоснительно исполнять. И в школе иноземца Густава Габе (открытой на кошт купца Франца Гизе), что в Немецкой слободе, куда попадает наш семилетний герой, он наряду с географией, историей, арифметикой, немецким языком и латынью, постигает и начатки

сего “святого” языка; и хотя не может читать по слогам, но литеры заучивает твердо.

Тринадцатилетним недорослем Александр был “написан” в Морскую Академию, о чем походатайствовал его шурин, муж сводной сестры Матрены, контр-адмирал Иван Синявин. Главное внимание уделялось в Академии математике, фортификации, навигации, геометрии, геодезии и прочим предметам, “до рисования и такелажа касающимся”. Студенты должны были искуситься и в политесе — “друг к другу иметь всевозможное почтение и друг друга называть моим господином”. Однако с “господ” здесь драли три шкуры, как с последних салажат: во время занятий у дверей класса стоял здоровенный дядька с хлыстом в руке, и того, кто урок не зубрил, порол нещадно и непочтительно. Впрочем, успехов в учебных предметах Возницын не выказывал, ибо не лежала душа его к Нептунову ремеслу. Он получил тогда прозвание “неслух”, поскольку лекции слушал вполуха, зато слыл завзятым книгочеем и домоседом. Крут чтения Александра не вполне ясен, но есть сведения, что книги он заимствовал из богатейшей библиотеки профессора математики, энциклопедически образованного Андрея Фарварсона, с коим, несмотря на разницу в возрасте и положении, приятельствовал. Не исключено, что Возницын и последователь англиканства Фарварсон обсуждали вопросы религии и веры, всегда волновавшие Александра.

В отличие от отца и дяди, государственным человеком Александр Возницын не был. Он знал наверняка, что судьбой ему определена иная стезя, и службу воспринимал как несносное бремя, а подчас и откровенно ею манкировал. Окончив Морскую Академию, он в 1717 году был определен во флот гардемаринном, а в 1722 году был произведен в мичманы и принял участие в Низовом походе. В 1728 году, при императоре Петре II, он служил в Кавалергардском корпусе, куда был принят за благородное происхождение, стать и высокий рост, но при этом не только рвения не проявлял, но и к своим прямым обязанностям относился с прохладцей. Не леность

тому причиной — просто другой закваски был этот человек, мыслями парил высоко. И пожелал всецело отдаться тому, что возвышало его душу, не пренебрегая для сей цели ничем и проявляя порой изрядную долю возницынской хитрости и упрямства.

В начале царствования Анны Иоанновны наступил, казалось, звездный час его карьеры: заслуженный вице-адмирал Наум Синявин добился назначения своего свойственника вторым капитаном пакетбота “Наталия”. Но, управляя судном, Александр тут же посадил его на мель, демонстрируя тем самым полную свою несостоятельность. Похоже, он сделал это нарочно, чтобы освободиться от тяготившей его службы (ведь трудно все-таки предположить, что учеба в Академии не дала ему равным счетом ничего). И в 1733 году по Высочайшему указу он был исключен из флота “за незнанием действительно морского искусства”. Дальнейшую судьбу капитана-поручика должна была определить Военная коллегия.

Последующее поведение Возницына говорит о том, что он не желал служить решительно нигде, для чего сказался больным. В декабре 1733 года он подает прошение об отставке, ссылаясь на то, будто бы у него “кровь повредилась, так что всякие опасные у него в руках и ногах сделались и на левой руке и затем тремя пальцами владеть не может”, а потому “к воинской службе не способен”. И Коллегия отпустила Александра Артемьевича домой на год для поправки здоровья. Но 30 апреля 1735 года Возницын подал новое заявление, “что от болезней не токмо свободы не получил, но и больше прежнего оные умножились”. Освидетельствовавший его майор объявил, что новоявленный недужный “в доме своем сидел в постели, в лице бледен..., сказывал, что у него имеется болезнь ипохондрия и в речах имеет запность и признается, что в нем есть меланхолия; при том же осмотре служители его объявили, что он временем бывает в беспамятстве и непорядочно бегает и дерется”. В другой раз направленный к нему для инспекции солдат Степан Каширин “сказкою показал, лежит, де

он, Возницын, в доме своем в людской избе, на печи, обут в лапти и поднимал ноги вверх”. Последовали еще множество врачебных комиссий, после которых было принято решение: “за несовершенном в уме состоянии в воинскую службу употреблять его не можно”. И по окончательному решению Правительствующего Сената от 2 октября 1735 года Возницын был “от дел отставлен и отпущен в дом во все”.

Так сбылась его мечта, и Александр освободился от тяготивших его должностных забот. Он был довольно зажиточным помещиком: от покойных отца, матери Мавры Львовны и брата Ивана получил имения в Белявском, Вологодском, Дмитровском, Кашинском, Московском и Ружском уездах с 370 четями пашни и 962 душами крестьян. Казалось бы, живи себе на покое, наслаждайся деревенской жизнью! Возницын, однако, заниматься хозяйством не пожелал. И не возражал вовсе, когда Матрена Синявина, сославшись на безумие сводного брата “по силе указа 1723 года, до освидетельствования дураков касающегося” взяла под опеку все его недвижимое имущество, исключая только села Непейцило Коломенского уезда с 30-ю крепостными душами, полученного им в приданое после женитьбы. Этим Александр вызвал острое негодование законной супруги Елены Ивановны (урожденной Дашковой), с которой они и без того жили в постоянной и обоюдной вражде. Еще в 1733 году Александр вознамерился развестись с постылой женой, о чем подал прошение по форме и ждал решения Духовной дикастерии на сей счет.

Но мысли Александра Артемьевича были далеки от мирских дел и житейских невзгод. Он мог теперь полностью отдаться чтению и волновавшим его вечным жгучим вопросам бытия. А искал Возницын Бога в мире и собственной душе и совершил в 1735 году паломническую поездку на Север, в Соловецкий монастырь, а именно, в Анзерский скит. По-видимому, уже тогда он стал отходить от христианских догматов. Сопровождавший его в поездке слуга Андрей Константинов свидетельствовал, что барин там “святым иконам нигде никогда не маливался

и не поклонялся и крестного знамения на себе не изображал”. Он будто бы говорил Константинову, “чтоб точно веровал единому Богу и не крестился, а, став бы на коленки, говорил следующие речи: Боже! Буди яко по земле хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя от них яко благ и человеколюбец!”. В минуту душевного волнения, рассказывал далее Константинов, Возницын сорвал с него крест и бросил в огонь, в печь, к неопишному ужасу сего верного крепостного раба...

Александр проникся иконоборческими настроениями, приказал крестьянам сломать часовню и утопить иконы в Москве-реке в своем имени Никольское. Когда же те пытались убраться от сего “богопротивного дела”, Возницын на них бранился и криком кричал и настоял-таки на своем; причем некоторые святые лики, как говорят очевидцы, он сам в реку “броском метал”. Подобное кощунство учинил он и в сельце Бабкине, что на реке Истра, о чем свидетельствовали староста и приказчик.

Несомненно, он изучал догматы разных религий. Поначалу он вослед известному вольнодумцу Дмитрию Тверитинову (которого, между прочим, обвиняли в “жидовстве”) пришел к убеждению, что “во всякой вере спастись можно” и, по-видимому, лишь в результате долгих духовных исканий обратился к иудаизму. Вот как говорится о Вознице в историческом романе Леонтия Раковского “Измученный капитан” (1936): “Он на всех языках книги читает. С иноземцами любит беседовать. Бывало, в Астрахани перса ли, татарина ли в гавани встретит, — к себе позовет, расспрашивает: как они живут да какой у них Закон? Эти годы здесь, в Москве, жили — в Немецкую слободу часто ездили. К нам, в московский дом, жидовин один со Старой Басманной часто хаживал. Целый вечер, бывало, с Александром Артемьевичем говорят”.

Этим жидовином и был Борух Лейбов. По рассказам крепостного человека Возницына Александра Константинова, в один погожий июльский денек 1736 года барин наказал ему отправиться в Немецкую слободу, сыскать там “ученого

жида” и уговорить его к нему в гости пожаловать, что он, Константинов, в точности и исполнил. Пришлось, правда, поплутать по слободе этой, чтобы найти там дом золотых дел мастера Ивана Орлета, где, сказывали, квартиру снимал книжный человек, еврейин Глебов. Впрочем, то, что он нехристь, за версту было видно, ибо ходил этот Глебов в самом что ни на есть жидовском платье, словно в Москве-матушке, где их брату и жить не велено, напоказ жидовство свое выставлял. Хотя понимал старозаконник пейсатый, что православному с такими, как он, якшаться не велено. Константинов не ведал, почто таиться надобно (слова “конспирация” тогда в русском языке не было), а потому никак не мог взять в толк, отчего еврей этот попросил остановить коляску за квартал от их дома, почему говорили они с барином на непонятном языке. Не знал он, что то был немецкий, хотя Лейбова выдавал сильный идишский акцент. И уж совсем невдомек было Константинову, зачем Александр Артемьевич этого зачистившего к нему жидовина так ублажать стал: то двух индеек ему в слободу пошлет, то барана, то сукна дорогостоящего аж за 10 рублей 50 копеек, то голову сахарную, то пшена сорочинского. И все-то осторожничал, норовил дело так обернуть, что подарки вроде бы неизвестной особой дадены, будто предвидел, корить потом его будут: “С нехристом спознался! Почто тебе так дорог оказался жид этот? Почто не гнушался ясти и пити с ним? В жидовскую веру переметнулся?”.

Поначалу отставной капитан еще не изжил традиционных взглядов и утверждал, что “от сотворения мира 7000 с несколькими летями, а Борух сказывал, что 5496 лет, и каждый в своем рассуждении при летах остался”. Но постепенно, сличая тексты переведенной с греческого языка Библии и Торы — “Библии Моисеева Закона” и усматривая в них явные расхождения, Александр пришел к выводу, что “в еврейской [Библии] напечатано справедливее”. Их разговоры тянулись нескончаемо долго. То была дискуссия двух книжников, в ходе которой Лейбов свободно излагал свои мысли. И Возницын в конце концов пленился логикой аргументации, ясностью

рассуждений и, как ему показалось, правдой учения своего еврейского собеседника. Их взгляды сблизилась, и они “более никакого спора не имели”. Постепенно диалог невольно обратился в монолог — и Александр лишь внимал словам Боруха, все более проникаясь благоговением к иудейскому Закону. Дальше — больше: он стал настоятельно просить еврея принять его в свою веру.

Что же подвигло на такой шаг православного человека? Любопытно, как объясняли это наши соотечественники. Преподобный Иосиф Волоцкий в XV веке о причинах притягательности “жидовства” для паствы рассуждал так: “Так пришел на землю прескверный сатана — и нашел у многих землю сердечную, возделанной и умягченной житейскими удовольствиями, тщеславием, сребролюбием, сластолюбием, неправдой и посеял гнусные плевелы чрез порождения ехидны”. Однако столь откровенно враждебная оценка иудаизма в “Истории государства Российского” Николая Карамзина сглажена. Здесь говорится, что евреи, “обитавшие в земле козарской или в Тавриде, присылали в Киев мудрых законников” и что Владимир, “великий князь, охотно их выслушал” (по крайней мере, учение мудрое и внимают ему с интересом!). Писатель Сергей Максимов отмечает, что для некоторых русских людей “евреи стали идеальным народом, Ветхий Завет исключительным руководством в жизни... Русский человек самым делом доказал сочувствие к угнетенному и презираемому племени и принял его веру”. Обращение к “чуждому” иудаизму историк Вадим Кожинов связывает с характерным для некоторых русских “экстремизмом”. Другой исследователь, Лев Усыскин, видит причину перехода в “любопытности” обращенного. “Воспитанный в православии русский человек, — поясняет он, — в какой-то момент приходил к мысли прочесть Ветхий Завет самостоятельно. И вот такое внимательное чтение, к удивлению читателя, обнаруживало, что привычный ему религиозный обиход этому старому Закону, наоборот, противоречит, игнорирует его требования и вообще довольно плохо с ним стыкуется. Начиная

с еврейской субботы, перенесенной христианством почему-то на воскресенье”.

Русские историки-почвенники и некоторые писатели не устают повторять, что Лейбов чуть ли не заставил Возницына принять иудаизм, а тот, “не отличавшийся ни умом, ни образованием” (хотя на самом деле все было как раз наоборот), поддался его диктату. “Борох Лейбов сотоварищи обнаруживает деятельный прозелитизм, — пишет Лев Тихомиров, — совращает в “жидовский закон” отставного флота капитан-поручика... при помощи других жидов совращает в Смоленске простой народ”. “Дерзкое проповедование жидовства” инкриминирует Боруху и историк Александр Григорьев. А бурная фантазия Александра Пятковского живописует “целое гнездо пауков, широко раскинувшее свою паутину”: вместе с Лейбовым, оказывается, действовала “шайка приспешников” и эти изверги “затеяли пропаганду обрезания, которому, может быть, подверглись и другие лица”. Ему вторит писатель Феликс Светов в романе “Отверзи ми двери” (1978): “Несчастный Возницын был соблазнен”, а все потому, что евреям якобы “даже законом предписано совращать в свою веру”. (Интересно, что тот же Светов православный прозелитизм считает делом законным и святым.)

На самом же деле, взгляд иудеев на миссионерство наиболее рельефно выражен в лапидарной формуле Шломо Лурия: “Пусть племя Израиля продолжает жить и занимать свое собственное место среди других народов в дни нашего изгнания, и пусть чужие, те, кто не из нашего народа, не присоединяются к нам”. Начиная же с XVII века, когда отрицательное отношение еврейства к христианству ослабело (что не оставляло места для стремления приводить неевреев «под крылья Шхины»), отказ иудаизма от прозелитской деятельности получил идейно-философскую базу. Если же единичные случаи обращения происходили, то, как отмечает “Еврейская энциклопедия”, “неофиту указывали на все невыгодные стороны его перехода в иудейство и на бремя еврейского законодательства. Новообращенному задавали вопрос: что привело его к тому, что он

предпринял этот шаг? Разве он не знаком с тем грустным положением, в котором находится ныне Израиль? Новообращенный отвечал: “Я знаю, но не достоин разделить их славного удела”. Ему указывали затем на все ограничения в пище и питье... Если неопит оставался тверд, его подвергали обрезанию в присутствии трех ученых, а затем его вели к омовению, после чего он считался евреем”.

В условиях XVIII века, когда за переход в иудейскую веру лишали жизни, новообращенному надлежало быть непоколебимым в своих убеждениях. Из той эпохи ведомы всего еще два случая такого перехода, причем с самым плачевным исходом. В 1716 году в городе со старейшей еврейской общиной, Дубно, были казнены две прошедшие гиюр (именно так называют принятие иудаизма) христианки. Мещанки Марина Сыровайцова и Марина Войцехова, показали на следствии, что “задумали перейти в иудейство по собственной воле” и “готовы погибнуть еврейками за живого Бога, потому что христианская вера ложна”. Выяснилось при этом, что о преимуществах иудаизма Сыровайцовой наставлял ее отец, бывший... священником. Женщин многожды пытали. Сыровайцова была приговорена к терзанию тела клещами, а затем к сожжению заживо на костре, а Войцеховой, которая после сотни ударов плетью покаялась в отступничестве, отрубили голову, а ее труп сожгли.

В исторической памяти сохранилась и легенда о Гер-Цедеке, знатном польском дворянине, графе Валентине Потоцком. Он перешел из католичества в еврейство и был по приговору церковного суда сожжен за это в Вильно 24 мая 1749 года. Однако мы — увы! — лишены возможности проследить, как вызревало в Потоцком желание обратиться к иудаизму, какие душевные борения довелось ему преодолеть. Известно лишь, что, будучи в Париже, куда он направился совершенствоваться в науках, Потоцкий забрел как-то в лавку букиниста. Здесь его внимание привлек склонившийся над фолиантом старик-еврей. Узнав, что речь в книге идет об иудейской вере, пылливый граф решил с ней ознакомиться,

и старик согласился давать ему тайные уроки. Далее известен только результат этих уроков: разочаровавшись в истинности христианства (хотя графу благоволил сам римский папа), Потоцкий уехал в Амстердам, где принял иудаизм и был наречен Авраам бен Авраам.

Если говорить о Руси, то примеры иудейского миссионерства отмечены лишь на раннем этапе ее истории. Об одном из них, так называемом “прении вер” с участием хазарских раввинов при дворе князя Владимира-Крестителя, мы уже упоминали. Историк Василий Татищев указывает также, что при веротерпимом князе Святополке “жиды... имели великую свободу и власть, чрез то... они же многих прельстили в свой закон”, однако подтверждений этому нет. А Киево-Печерский патерик (XI век) повествует о мученике Евстратии, который был взят в плен при разорении Киева половцами и продан в рабство иудею из крымского города Корсуня. По преданию, этот самый иудей-святотатец потребовал от него и от 50 других русских пленных отречься от Христа и совершить гиюр, но не добился ничего, и тогда уморил всех голодом, а Евстратия, привыкшего к постам и потому выжившего, распял во время празднования еврейской пасхи. Однако православные богословы Александр Мень и Яков Кротов сомневаются в достоверности данных о Евстратии и называют их “баснями”, “издевательством над здравым смыслом, Истиной, Христом”. И безусловно прав историк Николай Градовский, автор монографии “Отношение к евреям в древней и современной Руси...” (Т. 1, 1891), резюмировавший, что “евреи вообще не уличались в склонности к пропаганде и прозелитизму”. Очень точно сказал об этом и Лев Толстой: “В деле веротерпимости еврейская религия далека не только от того, чтобы вербовать приверженцев, а напротив — Талмуд предписывает, что если нееврей хочет перейти в еврейскую веру, то должно разъяснить ему, как тяжело быть евреем, и что праведники других религий тоже унаследуют царство небесное”^{*}.

* Авторство этих слов приписывается также Г. Гутману.

Но вернемся к Александру Возницину. Есть все основания думать, что он принял иудейскую веру не “по коварственным наговорам жида Боруха Лейбова” (как об этом будут писать в официальных документах), а по собственному разумению. При этом он ясно понимал, с какой нескрываемой злобой и ненавистью будет воспринят сей его шаг окружающими, и по возможности тщился себя обезопасить. Так, направляясь в декабре 1736 года в Смоленск, а затем в Польшу “к лучшему познанию Жидовского закона”, он объявил домочадцам, что едет, дескать, к тамошнему искусному лекарю, дабы тот излечил его от недугов (явно мнимых, поскольку, по показаниям многочисленных свидетелей, никаких болезней у него не наблюдалось). Знаменательно, что в путешествие они должны были ехать вдвоем с Лейбовым, но (опять-таки конспирация!) их крытые коляски встретились в условленном месте на пути к Смоленску, в 50-ти верстах от Москвы.

Материалы дела позволяют восстановить факты: оказавшись в польском местечке Дубровна, Возницин поселился в доме сына Боруха, Мее-ра. Далее Александр настоятельно просил о своем переходе в иудаизм и желал совершить обрезание, о чем “согнув руки свои, присягал”. И Лейбов, вняв его просьбам, призвал “жидов трех человек”, среди коих находился и моэль, “который от Рабинов, то есть Жидовских судей благословен на обрезание рождающихся... младенцев”. После сего была совершена брит мила, и Возницин, вступивший в союз с праотцом Авраамом, на радостях пожаловал моэля 10 рублями. И “все означенные Жиды с оным Борухом и сыном его по Жидовскому обряду обедали, а он, Возницин, от обрезания изнемог и лежал в постели своей”. При этом “Жидовские шабасы [соблюдал] и богохульные противные о Христе Господе Боге слова... он, Возницин, произносил”.

Когда Возницин вернулся из Польши в Москву, отношения Возницина с женой еще более накалились, так что дело и до рукоприкладства дошло. Елена Ивановна злобилась на “немалые мучительства” и “нестерпимые побои”, учиненные ей благоверным. К тому же, она опасалась

остаться без гроша за душой в случае развода. Так или иначе, у нее были все резоны избавиться от чуждого и не любящего ее супруга. Вообще, сохранившиеся сведения о Возницинной, позволяют говорить о ней как о женщине склочной, вздорной, корыстолюбивой и малограмотной. Тем не менее, в извете, поданном ею 4 мая 1737 года в канцелярию Московского Синодального правления, Елена Ивановна внятно и достаточно красноречиво рассказала о всех “преступлениях” муженька. Бойкий канцелярский стиль ее извета явственно обнаруживает, что рукой Возницинной водил некий поднаторевший в крюкотворстве человек. Им мог быть священник отец Никодим, большой дока по этой части, который, надо думать, небескорыстно, подучил ее, что и как писать, да на какие пружины нажимать надобно.

В доносе, между прочим, говорилось, что муж ее, Возницин, креста нательного давно не носит, и вообще, “оставя святую православную греческого исповедания веру, имеет веру жидовскую и никаких господских праздников не почитает. И в страстную седмицу употреблял себе в пищу пресные лепешки и мясо баранье... А оной же муж в молитву имеет по жидовскому закону, оборотаясь к стене... Он жидовский шабас содержал и мыслил тем умаслить Бога... Живность по жидовскому закону резал... Опресноки по жидовскому закону пек и ел”. И из семейной, передававшейся из рода в род “Псалтыри Доследованной” с изображением Спаса нашего Иисуса Христа и прочих святых злодейски страницы вырвал, а иные гравюры кощунственно подскоблил. Носил с собой какую-то жидовскую молитву и никогда с ней не расставался. Сообщила она и о разрушенной часовне, и о надругательстве над иконами. Но, главное, муж ее “от жидов обрезан, а больше из тех жидов имел он дружбу с жидом Борохом Глебовым”. При этом Возницина сообщила, казалось бы, неопровержимое доказательство его еврейства: “до отъезда [в Польшу] повреждения [у него] не видала, а после приезда повреждение на тайном уде усмотрела, да и потому обрезан и явно себя изобличает”.

Между тем, иудейство его и без того так или иначе выплывало наружу. Один из его слуг утверждал, что барин заставлял его молиться по-жидовски. А бывший духовник Возницына, московского Благовещенского собора священник Михаил Слонский корил его, что годами не исповедуется и не причащается и что вместо слов раскаяния услышал от сего раба божьего беззастенчивую проповедь жидовства. Александр распространялся о том, что “знает, как Бог нарицается различными именами еврейскими, да еще знает, как похвалы его Бога по-еврейски хвалят и величают, и что значит имя ангел, и что аллилуйя, и что аминь, библия, вседержитель, и как псалтырь прямо сказать знает”. Он также дал православному пастырю “жидовскую молитву своеручного ж их писания”.

Делу о “сворачивании отставного капитан-поручика Александра Артемьева сына Возницына в жидовскую веру откупщиком Борохом Лейбовым” был дан ход. Несчастных схватили, одного — в Москве, другого — в Зверовичах, и препроводили в Санкт-Петербург с предписанием содержать в кандалах “под самым крепким арестом”. Особое внушение сделала Анна Иоанновна караульным: “Дабы [сии преступники] от жидов каким воровским способом или происком выкрадены или через взятку перекуплены не были!” Предостережение странное и вздорное, если учесть, что иудеям жить в России, а тем более в Москве или Петербурге, категорически воспрещалось, а тех, кои случайно осели в Немецкой слободе, можно было по пальцам одной руки пересчитать. Видать, уже тогда русской императрице мерещился тотальный еврейский заговор, от которого спасу нет!

Вместе с Лейбовым и “объевреенным” капитаном в застенках томились трое крепостных Возницына — Сашка и Андрюшка Константиновы да староста Федька Григорьев. А фигурантами по сему делу проходили 20 человек! Всем им надлежало дать самые подробные признательные показания начальнику Канцелярии тайных розыскных дел Кавалеру и Генералу А. И. Ушакову — человеку с землистым лицом, чем-то

смахивавшему на великого инквизитора. И уж, конечно, самое пристальное внимание обратила на сие “богопротивное” дело государыня, которая видела в нем вопиющее беззаконие и опасность для Христовой веры. Увы (слаб человек!) — все крепостные Возницына подтвердили то, что барин их и богохульные речи говорил, и иконы не почитал, а Сашка Константинов вспомнил, как в Дубровне сын Лейбова, Меер, ему сказал: “как де твой помещик обрежется, то де будет у нас великое веселье”. Тем самым факт обрезания слуга прямо подтвердил.

Борух Лейбов, вопреки очевидным фактам, все отрицал, признав лишь то, что вел с Возницыным разговоры о Боге и сличал с ним тексты Библии и Торы (впрочем, как мы видели, тактику конспиратора он избрал с самого начала их общения). На вопрос, не сворачивал ли он Возницына в иудейство, Лейбов ответил: “Того не было. В наш Закон его никто не принял бы — у нас строго запрещено в иудейскую веру переманивать. И как господин Возницын мог перейти в нашу веру, не зная всех наших установлений. А их 613. Но кабы и выучил он все установления, все едино — ни в Польше, ни в Литве принять в наш Закон никого не могут, а только в Амстердаме. Так установлено от наших статутот”.

Подобным образом поначалу вел себя и Возницын — отвергал все обвинения и не каялся ни в чем, “учинив умышленное заперательство”. Однако после того как заплечных дел мастера на дыбу его подняли, спесь капитана поубавилась и признался он и в том, что обрезание “учинил по своевольному желанию” и “о содержании Жидовского закона присягал”, и “произносил важные и Церкви Святой богохульные слова”. А одно только последнее деяние каноническим грехом считалось и каралось самым суровым образом — 1-я же глава 1-го пункта “Соборного Уложения” 1649 года, которого в первой половине XVIII века никто не отменял, гласила: “Будет кто иноверцы или и Русской человек возложит хулу на Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа или на родившую его Пресвятую Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, или честный крест,



Герцог Эрнст Иоганн Бирон

или на Святых его угодников, и того богохульника, изблечив, казнити, сжечь”.

Дело было передано в Сенат, а затем в Юстиц-Коллегию, которая постановила “произвести указанные розыски, для того, не покажется ли оный Борух и с ним кого из сообщников в превращении еще и других кого из благочестивой, греческого исповедания веры в жидовский закон”. Лейбова (которому, помимо совращения православного, припомнили и старые грехи 1722 года) решили, как и Возницына, подвергнуть пытке в надежде, что и у жестоковийного иудея тоже тогда язык развяжется. Однако пыл палачей нежданно-негаданно охладила... сама православная государыня. Она вдруг распорядилась: хотя Борух Лейбов по силе совершенных им преступлений и подлежит допросу с пристрастием, чинить того не надобно. Ибо, в противном случае, из его “переменных речей” могут произойти нежелательные для интересов государства последствия.

Историки недоумевают по сему поводу и называют это решение Анны Иоанновны “удивительным”. Есть версия, что его инициатором и вдохновителем был фаворит императрицы герцог Курляндский Эрнст Иоганн Бирон. Последний якобы находился под влиянием обер-гоф-фактора Леви Липмана, коего называют “фаворитом фаворита”, то есть любимцем Бирона. Известно, что с этим Липманом Лейбова связывали самые тесные отношения, в том числе и предпринимательские. И Бирон будто бы убоился того, что поднятый на дыбу Борух Лейбов наболтает что-то лишнее об их с Липманом финансовых делах, и потому-то и замолвил о нем словцо монархине. Непонятно, правда, кого мог так опасаться всемогущий Бирон, надежно защищенный императрицей на все случаи жизни.

И тем не менее, роль временщика Бирона в спасении Боруха от костоломов Тайной канцелярии представляется нам вполне вероятной. Только Липман, обратившийся к нему за помощью, руководствовался не желанием спрятать концы в воду, а чувством сострадания к попавшему в беду соплеменнику.

Но все, что мог сделать Леви Липман для своего единоверца — это освободить его от дыбы и пыток. Судьба же Лейбова была предрешена. 24-я статья 22-й главы того же “Соборного Уложения” гласит: “А будет кого басурман какими-нибудь мерами или насильством или обманом русского человека к своей басурманской вере принудит, и по своей басурманской вере обрежет, а сыщется про то допряма, и того басурмана по сыску казнить, сжечь огнем безо всякого милосердия”. При этом выходила явная несообразность, о чем говорит историк: “Признав, что Возницын отпал от православной веры и признал жидовский закон “самовольно”, то есть без всякого со стороны Боруха принуждения к тому насильем или обманом, [Юстиц-] Коллегия тем не менее нашла возможным подвергнуть Боруха казни, следовательно, с другой стороны, признала его виновным в насильственном и обманном принуждении Возницына к своей жидовской вере”. Но искать логику в действиях оголтелых

ортодоксов, одержимых инквизиторской истерией, — занятие зряшное. На самом же деле “вина” Лейбова состояла лишь в том, что он, видя широкую эрудицию и твердое желание Возницына принять еврейство, не отказал иудею-неофиту в его настойчивой просьбе и помог совершить гиюр.

Монаршая резолюция гласила: “Дабы далее сие богопротивное дело не продолжилось, и такие, богохульник Возницын и превратитель в Жидовство Жид Борох других прельщать не дерзали: того ради за такие их богопротивные вины, без дальнего продолжения, по силе Государственных прав, обоих казнить смертью и сжечь, чтоб другие смотря на то невежды и богопротивники, от Христианского закона отступать не могли и в свои законы превращать не дерзали”.

“Казнить смертью и сжечь!” — громко повторил приговор пунцовощекий, с лицом, как вымя, кат, и беспощадные слова эти эхом пронеслись над толпой зевак, пришедших поглазеть на экзекуцию Лейбова и Возницына там, на Адмиралтейском острове, 15 июля 1738 года. Тогда в неистовом огне утонули последние крики этих двоих, сожженных заживо лишь за то, что были последовательны и крепки в религии Моисея: один был привержен ей с рождения, другой сознательно пришел в ряды иудеев. Кто же выиграл от их мученической смерти?

Ну, прежде всего, постылая жена, а теперь уже вдова Елена Возницына, которая “в награждение за правый донос” на мужа получила часть оставшегося после него имущества, а также “100 душ с землями и с прочими принадлежностями”. Власти намеревались облагодетельствовать и слуг, братьев Константиновых и Григорьева, в благодарность за то, что те изобличили злостного отступника. Им вознамерились было дать вольную, но, в конце концов, рассудили за благо отдать в собственность той же Возницыной, может статься, усмотрев между барыней и угодливыми извечниками особое душевное средство.

В русской словесности XVIII века аутодафе Лейбова и Возницына упоминается в “Сатире IX. На состояние сего света к солнцу” князя



Кн. Антиох Кантемир

Антиоха Кантемира. Автор высмеивает некоего олуха, опасавшегося читать Библию, дабы не отпасть от Христовой веры:

“Как, — говорит, — Библию не грешно читати,
Что она вся держится на жидовской стати?
Вон де за то одного и сожгли недавно,
Что, зачитавшись там, стал Христа хулить явно.
Ой, нет, надо Библии отбегать как можно,
Бо, зачитавшись в ней, пропадешь безбожно”.

К сим словам пиит сделал характерное примечание: “В Санкт-Петербурге 1738 году месяца июля и средних числах сожжен, по уложениям блаженные памяти российских государей, бывший морского флоту капитан за то, что принял жидовскую веру и так крепко на оной утвердился, что, не смотря на правды, упрямством своим в страшном на спасителя нашего Христа хулении погиб; который случай безмозгим невеждам немалую причину подал сомневаться о Библии,

когда они слышат, что жида ветхого закона держутся. О, как безумные и дерзкие невежды! Причина ли Библия святая дьявольского того орудия погибели?” Подтекст ясен: вовсе не Библия повинна в том, что воспринимается как еврейское учение (“жидовская статья”), а “безмозгии”, “безумные и дерзкие невежды”, превратно ее толкующие.

Между тем, число таких “безумных и дерзких невежд”, обратившихся к еврейству, в России XVIII–XIX веков были, по сведениям историка Савелия Дудакова, сотни тысяч (и это несмотря на то, что иудаизм был в те времена официально объявлен “лжеучением”, и осквернение синагоги преступлением отнюдь не считалось!) Еще до Кантемира известный публицист Иван Посошков упоминает о них в своих письмах. А св. Дмитрий Ростовский в “Розыске о раскольничьей Брынской вере” (1709) пишет о сектантах-щельниках (на Дону): “иже субботу по-жидовски посят”. Субботники отвергали христианское вероучение, почитали Ветхий завет. А в нем их привлекали запрет пожизненного рабства, идея единогобожия (а не Троицы) и отрицания “кумиров” (икон). В культе они стремились выполнять ветхозаветные предписания (обрезание, празднование субботы и еврейских праздников, пищевые и другие запреты). В царствование Екатерины Великой, и особенно при Александре I секты молкан-субботников пустили такие глубокие корни, что стали появляться в губерниях, находившихся за чертой еврейской оседлости (Московской, Тульской, Орловской, Тамбовской, Воронежской, Пензенской, Ставропольской и т.д.) А указом от 3 февраля 1825 года Николай I повелел “именовать субботников жидами и оглашать, что они подлинно жида”. При этом, в отличие от иудеев, “жидовствующие” пропагандировали свое учение, обращая в свою “вреднейшую секту” все новых и новых адептов. С конца XIX века в среде субботников — русских людей, в той или иной

степени соблюдавших Моисеев закон, возникло движение за переселение в Палестину, и они целыми семьями (Дубровины, Куракины, Матвеевы и др.) обосновывались в еврейских сельскохозяйственных поселениях, главным образом, в Галилее, где через два-три поколения растворились среди местного люда.

А что власти предержащие? Запалить костры инквизиции по всей православной России, в пламени коих сгорели бы заживо, в прах бы обратились тысячи “поганных капитанов Возницыных”, им было уже не под силу. Да и времена уже наступили не те. Пришлось ограничиться поражением их в правах, запретами на передвижение и на брак с православными подданными, а то и ссылкой в Сибирь на казенные фабрики и заводы, а также призывом детей сектантов на армейскую службу кантонистами. Однако масштабы этого явления афишировать никто не собирался, и начальство подчас делало вид, будто и не происходило ничего вовсе. Да и сегодня мало кто знает о капитане Александре Возницеине и откупщике Борухе Лейбове, которые поплатились жизнью за свободу совести и веры.

Лев Бердников. Родился в 1956 г. в Москве. Закончил филологический факультет Московского областного педагогического института и Высшие библиотечные курсы. Работал в Музее книги РГБ, где возглавлял научно-исследовательскую группу русских старопечатных изданий. Диссертация “Становление сонета в русской поэзии XVIII века”. С 1990 живет в Лос-Анджелесе. Автор семи книг и нескольких сотен публикаций в разных странах мира. Переведен на иврит, украинский, датский и английский языки. Член Русского Пен-Центра, Союза писателей Москвы, Союза писателей XXI века и Союза русскоязычных писателей Израиля. Лауреат Горьковской литературной премии 2010 года в номинации “По Руси. Историческая публицистика”.

Александр Шапиро

НЕРВ ЭПОХИ ПРОХОДИЛ ЧЕРЕЗ ЕГО СЕРДЦЕ

(Интервью с Анной Герт, вдовой писателя Юрия Герта)

С писателем Юрием Гертом, вернее с его творчеством, я познакомился уже в эмиграции, прочитав рассказ, героями которого были мои современники. Они спорили и рассуждали на знакомые темы, но их мнения и поступки, особая (без подтекста) правда, увлекали, втягивали в мысленную дискуссию с ними...

Затем были другие книги Ю. Герта, социально острые, с запоминающимися характерами. Особо привлекла меня в его творчестве тема еврейства. Познав мальчишкой, в эвакуации, боль антисемитизма, он пронёс её через всю жизнь. Личные переживания перешли в исследование боли и судьбы своего народа, которые отразились в рассказах, повестях, романах. Страстная борьба с тоталитарным началом и национализмом во всех его проявлениях стала жизненным кредо писателя. В этом сила его публицистики. Нерв эпохи проходил через беспокойное сердце автора.

Последние годы жизни Юрий Герт провёл в Кливленде, штат Огайо. И тут он продолжал плодотворно писать, опубликовав в США новые книги: «Северное сияние», «Лазарь и Вера», «Семейный архив»...

В одной из статей С. Баймухаметова в журнале «Вестник» есть такие строки: «... в литературных кругах ходила легенда, что после разгрома «Нового мира», умирая, Твардовский сказал: «Ничего, есть ещё «Простор», есть ещё Иван Шухов...» В то время в нём работал и Юрий Герт.

Об этом периоде жизни и творчества писателя, его окружении, многом другом я беседую с вдовой Анной Герт, его первым критиком, учёным-экономистом и публицистом. В то время она

преподавала статистику и экономику в Институте народного хозяйства в Алма-Ате.

— С Казахстаном вашу семью связывали долгие годы работы, как Ю. Герт попал в алма-атинский журнал?

— Юрий Герт значительную часть жизни провёл в Казахстане, он автор романов «Кто, если не ты?..», «Лабиринт», «Ночь предопределённый», «Приговор», сборников рассказов и повестей «Первое апреля», «Солнце и кошка», «Листья и камни», серии публицистических статей «Раскрепощение» и др. Во всех его произведениях получили отражение важнейшие проблемы современности: личность и общество, свобода и угнетение, человек и режим. Его книги вызвали постоянное недовольство властных структур и шельмование в печати.

В 1964 году, почти одновременно с изданием, роман «Кто, если не ты?..» печатался в сокращённом варианте в журнале «Простор». Тогда же Ю. Герт познакомился с его творческим коллективом и главным редактором Иваном Петровичем Шуховым. Вскоре после нашего переезда из Караганды в Алма-Ату Шухов предложил Юре работать в журнале. Юра с радостью согласился. Он проработал в «Просторе» двадцать три года, с 1964 по 1987.

— Что представлял собой журнал «Простор» в то время?

— В шестидесятые и в начале семидесятых шуховский «Простор» был известен всей стране. На его страницах впервые были опубликованы стихи полузапрещённых А. Ахматовой, М. Цветаевой, О. Мандельштама, неизвестные

произведения А. Платонова и Б. Пастернака. Вот что пишет в связи с этим Ю. Герт в своей книге «Семейный архив»: «В те годы, при Шухове, «Простор» был для нас чем-то вроде «островка свободы» — среди океана всяческой грязи и пакости. Мы трепетно ловили каждый звук, каждый шорох, долетавший из Москвы, каждую подробность столичных баталий — и стремились помочь осаждённой «новомировской» стороне, печатали «новомировских» авторов, перед которыми захлопывались двери «больших журналов».

Наряду с этим в «Просторе» публиковались произведения талантливых казахстанских авторов: О. Сулейменова, Г. Мусрепова, М. Симашко, Г. Черноголовиной, С. Муканова, И. Щеголихина, Р. Тамариной и многих других.

— Каковы были взаимоотношения Ю. Герта с сотрудниками журнала, был ли это союз единомышленников?

— Взаимоотношения между сотрудниками были исключительно дружескими. Многократные угрозы разгона редакции, постоянная напряжённость сближали, по сути, очень разных людей. В то время «шуховская команда» действовала сплочённо, и ничто тогда не предвещало всплеска националистических тенденций и возникшего, в связи с этим, раскола... С главным редактором у Герта отношения были доверительные. Он испытывал искреннее и глубокое уважение к Ивану Петровичу, который был не только талантливым писателем и прекрасным руководителем, но и человеком редкой порядочности и отзывчивости.

Когда в Алма-Ате и Павлодаре фабриковалось так называемое «еврейское дело», Юру вызвали в прокуратуру. В тот же день он рассказал обо всём Шухову и заявил, что не хочет подводить журнал, а потому пришёл подать заявление об уходе «по собственному желанию».

Шухов ему ответил: «Не надо, Юра, оставайтесь. Никуда вам не надо уходить. И, пожалуйста, никому обо всём этом не рассказывайте».

— Когда пишут и говорят о «времени застоя», обычно вспоминают известные всем события и имена, оставившие глубокий след в истории

диссидентского движения. Но были и другие события и совсем не известные их участники. Вы упомянули о попытках органов КГБ «сфабриковать» в Казахстане «еврейское дело»...

— В 1971-м году в Казахстане КГБ готовило «еврейское дело». С этой целью в Алма-Ате и Павлодаре была проведена серия обысков. Искали литературу об Израиле, т.е. так называемую сионистскую литературу, а также прочую «антисоветчину»: рукописи Солженицына, кассеты с записями песен Галича, другой самиздат. Всё началось с Павлодара, где у преподавателя пединститута Шафера обнаружили румынский журнал с заметкой об Израиле. В Алма-Ате обыск был у профессора КазГУ А. Жовтиса; преподавателя пединститута, кандидата филологических наук Е. Ландау; преподавателя мединститута, кандидата философских наук В. Штейна. За обысками следовали допросы. Причём главной задачей органов КГБ было доказать не только наличие самиздата, но и антисоветской организации, созданной евреями для пропаганды сионистских настроений и распространения запрещённой литературы. Однако вся эта кагебешная затея с треском провалилась. Дело в том, что Е. Ландау, у которого нашли дневники с размышлениями об Израиле и судьбе еврейского народа, на следующее утро, услышав звонок в дверь, понял, что это пришли за ним, — и бросился вниз с четвёртого этажа...

Через два дня об этой истории уже знал весь город, так что органам пришлось её замять. Тем не менее, Шафер получил срок три года. В. Штейн, страдавший маниакально-депрессивным психозом, лёг в психбольницу, где его вместо лечения постоянно загоняли в депрессию. А. Жовтис, у которого нашли плёнки с записями песен Галича, отделался сравнительно лёгким испугом. Его выгнали из университета, и восемь лет он не имел возможности получить хоть какую-нибудь работу.

— Чем был вызван повышенный интерес органов к Ю. Герту, его вызов в прокуратуру?

— Повышенный интерес к Герту со стороны органов объяснялся тем, что им стало известно

о посмертном завещании Ландау, которое он, будучи одиноким человеком, оставил у нас. После его самоубийства это завещание срочно понадобилось кагебешникам как доказательство того, что они никак не были причастны к вынужденной смерти Ландау, что планировал её он заранее, т.к. якобы страдал каким-то психическим заболеванием.

Через два дня после смерти Ландау двое в штатском явились в редакцию и после короткого разговора повезли Герта сначала домой за завещанием, а затем на квартиру Ландау, где уже находился следователь КГБ. Он ожидал от Герта ответов, подтверждающих версию органов, но Юра сказал, что не замечал у Ландау каких-либо психических отклонений и, как ему известно, последние месяцы Ефим Иосифович успешно работал над примечаниям к некоторым стихам И. Эренбурга.

— Расскажите, пожалуйста, об И. П. Шухове. При нём журнал стал одним из очагов свободомыслия в бывшем СССР, но это продолжалось недолго... Как его уволили?

— Иван Петрович Шухов был известным писателем, о таланте которого ещё в двадцатые годы писал А. М. Горький. Он происходил из рода сибирских казаков и был, как я уже говорила, глубоко порядочным человеком. В нём, как и в Твардовском, преобладало исконно-русское крестьянское начало и глубокая вера в то, что в России настоящий писатель обязательно должен быть «властителем дум», просветителем и борцом за свободу. Шухов сумел создать удивительно сплочённый коллектив, каждый член которого ощущал себя человеком, способным на риск в единоборстве с тоталитарной системой.

Причиной или, быть может, поводом для его увольнения послужил, как ни странно, печатавшийся в «Просторе» захватывающий детектив американского писателя Ф. Форсайта «День шакала». Сюжет этого детектива был целиком придуман и не имел никакого отношения к реальной действительности. Он базировался на фантастической версии о якобы существовавшем

заговоре, целью которого было убийство президента Франции Шарля де Голля.

После того, как один из номеров журнала, содержащий очередную порцию детектива, был отпечатан и должен был поступить в продажу, звонок из республиканского ЦК запретил его распространение, а Шухова вызвали на «ковёр» в это учреждение. Там ему прочли телеграмму от Суслова, в которой с возмущением указывалось, что в тот момент, когда Л. И. Брежнев собирается ехать в Казахстан, в «Просторе» публикуется подробный рецепт политического убийства.

ЦК отреагировал мгновенно. Печатать дальше детектив запретили, а редактора уволили.

— Уход Ю. Герта из «Простора» связан с публикацией на его страницах очерка М. Цветаевой «Вольный проезд». Почему очерк известной поэтессы, к тому же трагически погибшей, вызвал такое неприятие с его стороны? Мне приходилось читать разные инсинуации, в чём же истинная подоплёка этого события?

— В 1987 году, когда вместе с перестройкой повсеместно наблюдался мощный всплеск националистических и антисемитских настроений, в журнал был прислан очерк Марины Цветаевой «Вольный проезд». К тому времени состав редакции существенно изменился, а место главного редактора занял газетчик из номенклатурной обоймы Геннадий Толмачёв. Хотя Ю. Герт был главным редактором отдела прозы и членом редколлегии, об этом очерке он узнал последним, после того, как все остальные сотрудники редакции его прочитали и одобрили.

В очерке рассказывалось о том, как в сентябре голодного 1918-го Марина Цветаева поехала за продуктами в тульскую губернию и остановилась в доме, где жил командир продотряда, «еврей со слитком золота на шее». Непомерной страстью к золоту была преисполнена и его жена, разумеется, тоже еврейка. «Опричники», то бишь продотрядовцы, разбойничали и выжимали из страдающего народа всё до последней капли. Причём главное в них не то, что они занимались грабежом и насилием, а то, что большинство из них были евреями. Впрочем, один

из продотрядовцев, не лучше и не хуже других, но с яркой славянской внешностью и двумя Георгиями, даже вызвал у автора немалую симпатию, поскольку напоминал Стеньку Разина.

Ю. Герт был хорошо знаком с творчеством Марины Цветаевой, её трагической судьбой и страшным финалом. Безоглядная прямота и жизнь, полная страданий, делали её в его глазах почти святой. Тем не менее, он был категорически против публикации этого очерка, в котором евреи в угоду широко распространённым юдофобским стереотипам, опять, уже в который раз, изображались двоедушными, хищными и жестокими погубителями России. Как стало потом известно, публикации этого очерка в Париже, в 1924 году в русском журнале «Современные записки», Марина Цветаева предпослала стихотворение «Евреям», в котором она с «характерным цветаевским пережёлтением» неожиданно и убеждённо признаётся в любви всем евреям:

В любом из вас — хоть в том, что при огарке
Считает золотые в узелке, -
Христос слышнее говорит, чем в Марке,
Матвее, Иоанне и Луке.

Но этого стихотворения в «Простор» никто не присылал, о его существовании узнали много позже. А тогда Ю. Герт один выступил против публикации очерка, терпеливо и настойчиво объясняя свою позицию бывшим друзьям и коллегам. Однако его никто не поддержал. Когда редакция, проигнорировав его мнение, приняла решение — печатать, он ушёл из журнала. О конфликте, переросшем редакционные рамки и происходившем на фоне тогдашних грандиозных потрясений и острых национальных междоусобиц, Ю. Герт рассказал в своей книге-эссе «Эллины и иудеи», издание которой было спонсировано «Джойнтом», а вышла она в России после его эмиграции.

— В своё время романы Ю. Герта «Кто, если не ты?..», «Лабиринт», повесть «Лгунья» и другие с трудом пробивались через цензуру. Все ли его книги опубликованы?

— Книги Юрия Герта, как правило, носили остросюжетный характер, поэтому путь

к читателю для каждой из них был тяжёлым и долгим. Так, первый роман «Кто, если не ты?..» рассказывает о молодёжном бунте, драматической борьбе группы старшеклассников со сталинским тоталитаризмом. Этот роман приобрёл широкую известность далеко за пределами Казахстана, но долго не допускался к печати и был напечатан в 1964 году, в период «оттепели». В романе «Лабиринт» действие разворачивается в маленьком провинциальном городе, где происходящее в то время «дело врачей» кардинально меняет судьбы многих — евреев и не евреев, и приводит к трагической гибели главную героиню.

Роман не печатался более двадцати лет, сатирическая повесть «Лгунья» — более пятнадцати. Этот список можно было бы продолжить... В настоящее время почти всё написанное автором опубликовано.

— Что характерно для новых произведений писателя, появившихся в годы эмиграции, какая из книг, написанных в последний период, кажется Вам более значительной?

— Произведения Ю. Герта, написанные в последние годы, в основном посвящены еврейской тематике. Как всегда, для автора духовный мир его героев, их умение действовать и контролировать свои поступки с жёстких нравственных позиций гораздо важнее национальных, социальных или каких-либо других факторов. Сейчас невозможно себе представить творчество писателя без созданных в эмиграции «Лазаря и Веры», «Антисемита», «Северного сияния» и других. И всё же наиболее значительным, по-моему, стал его последний роман «Семейный архив», который является как бы ответом А. Солженицыну на его книгу «Двести лет вместе».

В противоположность А. Солженицыну, изображающему евреев мелкими и крупными жуликами, приспособленцами или просто мерзавцами, виноватыми буквально во всех бедах и неурядицах, постигших Россию за последние двести лет, Ю. Герт рассказал о шести поколениях одной еврейской семьи. В ней, как и в большинстве еврейских семей, не было ни торговцев сомнительной репутации, ни ростовщиков, ни

банкиров. Это были обычные люди, они много и добросовестно работали на благо страны, которую считали своей, воевали, и с честью пронесли через всю жизнь тяжёлое бремя своего еврейства.

Баффало

Шапиро Александр Ефимович, 1945 г.р., жил в г. Черновцах, Украина. Получил высшее филологическое

образование в Черновицком государственном университете. Сейчас живёт в г. Баффало, США. Пишет стихи и прозу. Печатается в русскоязычных СМИ, интернетных журналах, сборниках и альманахах разных стран. Автор одиннадцати книг стихотворений и рассказов. Лауреат и призёр нескольких международных литературных конкурсов. Член Международного Союза писателей «Новый современник», член Союза русскоязычных писателей Израиля, член МСТС «Озарение».

Владимир Спектор

ОТ СЧАСТЬЯ СВОЕГО НЕ УБЕЖИШЬ. НО ЕГО ЕЩЕ ДОГНАТЬ НАДО...

Лидия Григорьева. «Термитник». Роман в штрихах.

Санкт-Петербург, «Алетейя», 2020, 168 стр. Г 834 ISBN 978-5-00165-164-2.

Большинство читателей из европейских стран вряд ли сталкивались на своем пути в термитниками и их обитателями — термитами. А ведь суетливо-озабоченное существование этих маленьких насекомых, выбирающих для себя более жаркий климат, в какой-то мере напоминает человеческую жизнь. Среди них есть короли и королевы, солдаты и работяги, и даже любовники. Да и сооружения, которые они возводят из песка, глины, деревянных щепок и опилок (кстати, без всяких чертежей и схем) по своим функциональным характеристикам напоминают многоэтажные дома с жилыми квартирами и массой подсобных помещений. И везде жизнь движется по своим таинственным канонам, не давая ответа на главные вопросы — «Зачем и почему? Как и куда?»... Впрочем, термиты об этом и не задумываются. А людям, живущим в мировом термитнике, с которым можно сравнить нашу Землю, это свойственно. Они думают, наблюдают, пытаются понять, если не окружающий мир, то хотя бы себя. Хотя бы немного... Зачем все это происходит? Куда несется мрак и свет, клубок несыгранных мелодий и неотпаянных побед?.. Зачем, куда — и нет ответа. В ответе — каждый за себя. Хоть много звезд, но мало света... И свет ласкает, не любя. Любя — это здесь ключевое слово. Ведь при всём сходстве общественно-полезной (или бесполезной) жизни мудрых насекомых и порой забывающих о мудрости, но, всё

же, мыслящих людей, главное отличие — в способности не только думать, но любить и сострадать. Любить и сочувствовать. И при этом — ненавидеть и злорадствовать, завидовать и делать подлости... Всё это — жизнь, наш термитник, не замирающий ни на мгновение, в котором добро и зло никак не решат, кто же побеждает в борьбе за светлое или темное будущее нашей огромной и такой маленькой планеты, громада которой летит в безвоздушном пространстве, уместаясь в дыхании и сердце каждого из нас. А также иногда отражаясь в хороших книгах. Одну из которых известная писательница Лидия Григорьева так и назвала «Термитник. Роман в штрихах». Почему «Термитник»? Наверное, потому, что роман очень густо населен героями, судьбы которых пересекаются, как искусно и прихотливо сделанные переходы в термитниках. Причем, несмотря на то, что судьбы, события и время, в котором они происходят, очерчены пунктирно, всего несколькими штрихами, благодаря мастерству изложения в этих штрихах угадывается вся жизнь. Мастерство, изящество повествования, глубина проникновения в ситуацию, мудрый взгляд страдающего и много понимающего человека... Всё это позволяет всего в нескольких строках или абзацах представить историю, в которой «и жизнь, и слёзы, и любовь», и в них отражение времени и судьбы целого поколения. И ещё раз выделю слово «любовь», потому что о чем бы ни

писала Григорьева, всё равно это история любви, в которой жизнь и смерть идут рядом. Но иначе ведь и не бывает. И то, что всё это изложено всего в нескольких предложениях, вызывает изумление и уважение к таланту. *«От счастья своего не убежишь. Но его ещё догнать надо»* — говорит один из героев романа. Счастье, оно, как любовь, без него жизнь тоже теряет смысл, и вечная гонка в его поисках не обязательно успешна. Но без неё, этой гонки, — просто невозможна.

«...при подлете к аэродрому он с нечеловеческой силой выбил дверь запасного выхода, взял обмякшую Лену на руки и выбросил её на летное поле, подальше от горящего самолета. А сам выпрыгнуть не успел. Да и не рассчитывал на спасение. Главное было её спасти. Потому что любил смертельно. Вот прямо до смерти. Что и сбылось...»

Не слова, не отсутствие слов... Может быть, ощущение полёта. Может быть. Но ещё любовь — это будни, болезни, заботы. И готовность помочь, спасти, улыбнуться в момент, когда худо. Так бывает не часто, учти. Но не реже, чем всякое чудо.

«...Они очень любили друг друга. И умерли в один день. Потому что муж в тайге подхватил однажды именно того самого — опасного — клеща, одного из миллионов. А к ней, блаженно балдеющей на океанском берегу, однажды внедрился под кожу неведомый насекомый зверь. И стал отравлять сначала организм, а потом и саму жизнь. Сколько ни рыли ей кожу врачи невидимыми лучами — не находили, отчего она слабеет. И муж ничем не мог помочь, потому что лежал в энцефалитном параличе. После их смерти взрослые дети решили их кремировать, чтобы избавить дом от заразы. Но даже в небо они вознеслись вдвоем. Их дымы слились воедино...»

Тёплый ветер, как подарок с юга. Посреди ненастья — добрый знак. Как рукопожатье друга, как улыбка вдруг и просто так. Жизнь теплей всего лишь на дыханье, и длинней — всего лишь на него. Облака — от встречи до прощанья, и судьба. И больше ничего.

Сотни историй, собранные под обложкой этой удивительной книги, читаются на одном дыхании. Ибо написаны увлекательно, мастерски

и с подробным знанием того, что происходит в судьбах героев и стран их проживания. А это не только Россия, но и Англия, Германия, Прибалтика... И везде за ярким колоритом традиций и местной специфики одни и те же переживания, радости и страдания, надежды и их крушения. Ведь род человеческий неизменен. И то, *«что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было, и Бог воззовет прошедшее...»* С мудростью Библии не поспоришь. Но и то, что уже было с кем-то, в своей судьбе воспринимается как небывалое доселе открытие, самое важное и неповторимое. Мимоходом и тем не менее образно, с узнаваемыми деталями, рассказывает Лидия Григорьева о драматических событиях 90-х годов, сломавших или изменивших жизни миллионов людей, разрушивших привычно налаженный быт, восстановить который оказалось совсем непросто. И кто виноват? Жизнь и все мы...

«...И опечалилась училка. И вернулась из Германии в разоренную реформаторами страну. Кое-как дотянула до нищенской пенсии... И нет в этой истории морали, потому что она аморальна в основе своей. Тут все пострадавшие от колеса истории, как личного, так и общего для всех...»

Жизнь не похожа на ту, что была. Она не хуже, не лучше. Всё так же вершатся судьба и дела, на солнце находят тучи. И вновь продолжается круговорот, мгновенье сменяет мгновенье. И в каждом — внезапный уход и приход в молчанье и в сердцебиенье.

Всё же, повторю, что любовь, невзирая ни на что, — главный персонаж всех житейских историй «Термитника». Она может быть счастливой и не очень, бурной и неразделенной, но именно она определяет настроение, поступки, перемены участи, иногда желанные и долгожданные, иногда трагические и невыносимые своей неизбежностью. И от всего этого краткие, пронзительные рассказы читаются, как романы, сжатые с неистовой силой до объёма телефонного сообщения (не зря ведь другая книга Григорьевой называется «Стихи для чтения в смартфоне или краткостишия»). Это и примета времени, строго, электронного, игнорирующего длинноты,

и волшебство мастера, чей талант, возможно, вновь привлечет к нормальному чтению поколение читателей СМС-ок. Ведь о любви читать интересно всем, и юным, которые только догадываются о её сладостной благодати, и тем, кто свои розовые мечты потерял в серых закоулках промчавшихся лет.

«...Ему нравилась девушка в розовой кофточке с пышными воланами. Но женился он на старосте курса в строгой белой блузке. Потом она стала комсоргом всего потока. Партком, Райком. Перестройка. Перестрелка. Перестроились. Поднажали. И оказались в Гамбурге по еврейской линии десятой воды на киселе. Да не об этом речь. А речь о розовой кофточке, которую он так и не смог забыть. И наконец-то купил своей жене почти такую же на рождественской распродаже. Положил под елку. Заставил примерить. Но кофточка не сошла с её груди и лопнула по швам на её арбузных бедрах. А ведь казалась новой. И такой желанной...» «...И было ясно, что озноб очарования к ним никогда не вернется...»

Обжигающий вкус не у чая, а у жизни, у встреч и разлук. Сердце жарче стучится, встречая, превращая во взрыв каждый стук. Кипяток всех житейских страданий обжигает сердца вновь и вновь. И спасительной ложкой в стакане защищает аорту любовь.

На мой взгляд, этим романом в штрихах Лидия Григорьева открыла новое направление прозы, наиболее подходящее для нового времени. Но чтобы так писать, вкладывая глубокое содержание и полноценное повествование в столь малое пространство печатного листа, нужен особый талант и виртуозное владение словом. Всё это есть у Григорьевой, и тут очень пригодился её

поэтический опыт. Нет, это не поэтическая проза, в которой на первом месте образность и метафоричность, а уже на втором — увлекательность, сюжетная динамика и событийно-смысловая стремительность. Это настоящий роман, и каждый его эпизод может стать основой полноценного телевизионного сериала.

Как в термитнике каждое помещение имеет свой смысл и предназначение (при этом все они соединены между собой системой переходов и коридоров), так и в книге Лидии Григорьевой каждый рассказ самодостаточен. А соединяет их талант автора и его желание поведать миру «большое в малом». Что ж, цель и средства оправдывают друг друга. И как в природе, пусть этот «Термитник» стоит долго на радость читателям.

Владимир Спектор. Родился в Луганске в 1951 году. Редактор литературного альманаха и сайта «Свой вариант». Автор более 20-ти книг стихотворений и очерковой прозы. Заслуженный работник культуры Украины. Лауреат нескольких литературных премий. Среди последних публикаций — в журналах «Слово\Word», «Новый Континент», «Новый Берег», «Радуга», «Сетевая словесность», «Дети Ра», «Зарубежные задворки», «Этажи», «Чайка», «Золотое Руно», «Камертон», «Литературная Канада», «Особняк», «Интер-Фокус», «Фабрика литературы», «Клазура», газетах «День Литературы», «Поэтоград», «Литературные известия»... В 2015 году стал лауреатом международного литературного конкурса «Открытая Евразия». В 2017 году стал серебряным призером Германского международного литературного конкурса «Лучшая книга года на русском языке» в номинации «Поэзия». С 2015 года живет в Германии.

Анриета Жекова, Виктор Фет

ПЕРВЫЙ БОЛГАРСКИЙ ПЕРЕВОДЧИК «АЛИСЫ В СТРАНЕ ЧУДЕС»

Книга Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в Стране чудес» (1865) была впервые переведена на болгарский язык в 1933 г. Перевод, сделанный Лазаром Голдманом, был опубликован в Софии издательством «Т. Ф. Чипев» (Рис. 1–2, иллюстрации Мэйбл Люси Этвелл).

Недавно видный болгарский лингвист Иван Держански опубликовал статью с высокой оценкой этого перевода. Держански также процитировал (в своем переводе на английский) предисловие к изданию 1933 г., принадлежавшее знаменитому болгарскому поэту и переводчику Николаю Лилиеву. Лилиев писал: «У меня нет сомнения, что и в нашей стране эта остроумная и прекрасная книга, плод крылатого воображения, скоро доставит настоящую радость и взрослым, и детям. Перевод господина Лазара Голдмана, сделанный с чрезвычайным вниманием к оригиналу, свидетельствует о том, что на литературный болгарский язык возможно переводить зарубежную классику, даже такую, которая на первый взгляд кажется непере译имой».¹

В то время в независимой Болгарии росли интеллектуальные связи с Западной Европой, и появлялись многие первые переводы иностранной классической литературы. В последующие десятилетия появилось несколько новых переводов «Алисы» на болгарский, но перевод Голдмана также перепечатывался несколько раз. В 1934 г. в газете «Литературен глас» первый рецензент книги Р. Русев писал: «Переводить “Алису”, книгу сугубо



национальную, очень нелегко. Некоторые места в ней не поддаются переводу, поскольку основаны на игре слов... Переводчик обошелся с большинством из них весьма искусно. Хотя порой перевод буквален, в целом он приемлем».²

Современная болгарская исследовательница д-р Мария Пипева — специалист по переводу английской литературы и профессор в Софийском университете им. Св. Климента Охридского. В 2000 г. она писала: «Перевод “Алисы” был наиболее выдающимся достижением среди болгарских переводов детской литературы в период между двумя мировыми войнами. ...Голдман нашел адекватный подход к тексту, который состоял не в завлекательном сюжете, забавных случаях или интересных приключениях (как в тех книгах, которые были знакомы болгарским детям), но, скорее, в изысканной языковой игре и изобретательных логических парадоксах. ...невзирая на все свои несовершенства, перевод Голдмана ни в коем случае не следует недооценивать; он открыл новую практику перевода и на протяжении более чем 60 лет был единственным жизнеспособным вариантом «Алисы» на болгарском языке». ³ По словам М. Пипевой, «Л. Голдман справлялся с трудностями перевода с завидным мастерством, учитывая, что ему приходилось все начинать буквально с нуля, как в смысле перевода, так и в смысле нашей литературной традиции. Голдман не только обладал зорким глазом при расшифровке многочисленных каламбуров, но и незаурядной выдумкой при поиске болгарских аналогий, что часто требовало ‘перелицовки’ текста для того, чтобы достигнуть адекватности перевода». ⁴

Но кто же такой Лазар Голдман? Помимо его очевидного еврейского имени, об этом переводчике в Болгарии ничего не известно. Когда в декабре 2020 г. мы запросили информацию о Голдмане у д-ра Держански, он ответил: «...к сожалению, я ничего не знаю о Лазаре Голдмане, кроме того факта, что он первым перевел на болгарский “Алису в Стране чудес”, а также несколько других книг с английского (в их числе “Моби Дик” Германа Мелвилла) и по крайней мере одну с немецкого (“Эмиль и сыщики” Эриха Кестнера). Я не мог найти никакой информации о нем, кто он был, где и когда он жил — ничего. Почему это так, я не знаю». И действительно, это имя в Болгарии полностью забыто.

С началом наших поисков стало ясно, что и ранее многие болгарские переводчики, издатели и исследователи пытались найти какую-то информацию о Лазаре Голдмане, но безрезультатно. Этого было достаточно, чтобы вызвать наш интерес. Возможно ли, чтобы для такой важной и популярной книги, изданной в Болгарии тиражом более 130000 экземпляров только в 1965–1977 гг. (согласно выходным данным) и издававшейся в дальнейшем, нам была неизвестна даже дата рождения переводчика?

Наши поиски заняли несколько месяцев. ⁵ Было послано около сотни писем и запросов, и ответ был практически один и тот же: «Информация отсутствует». В то же время подробные библиографические поиски обнаружили пять переводов Голдмана («Алиса» была первой), сделанных в 1933–1946 гг. (см. ниже). В ходе дальнейших поисков во всех возможных болгарских архивах и источниках, мы встретили имя Лазара Голдмана в списке болгарских евреев, окончивших Роберт Колледж в Константинополе (ныне Стамбул). Этот список приводится в недавней книге Орлина Сабева. ⁶

Роберт Колледж был первым американским высшим учебным заведением за пределами США, основанным в 1863 г. с изначальной целью дать образование христианским меньшинствам Османской империи. За многие годы его окончили около 900 болгарских граждан, в основном из семей богатых торговцев, сыновья дипломатов, политиков и юристов. Многие из них продолжили образование в Европе или США. Среди выпускников Роберт Колледжа были болгарские премьер-министры Константин Стоилов и Тодор Иванчов; Стефан Панаретов — дипломат, профессор в том же Роберт Колледже и первый посол Болгарии в США (1914–1925); деятель просвещения Иван Славейков; политик Иван Гешов; генерал Иван Фичев.

Согласно данным Сабева (2019), Лазар Голдман был сыном торговца из Софии и обучался в Роберт Колледже с 1924 по 1931. С помощью д-ра Сабева (специалиста по истории Османской империи, в частности, системы образования) мы

смогли установить приблизительный год рождения Голдмана — около 1909, на основании того, что при поступлении в Роберт Колледж ему было 15 лет. В это время его имя появляется в списках студентов за 1924–1925 учебный год.⁷ Документы эти хранятся в архивах американского Роберт Колледжа (Özel Amerikan Robert Lisesi), который и поныне существует в Стамбуле. Это одна из наиболее престижных частных школ в Турции. Колледж аккредитован Ассоциацией независимых школ штата Нью-Йорк.

Подтверждение того, что Лазар Голдман учился в Роберт Колледже, было найдено нами и в другом, весьма драматическом источнике. Имя Голдмана бегло упоминается в 1951 г. в протоколе допроса Асена Христофорова, болгарского экономиста, писателя, переводчика, преподавателя экономики, который также обучался в Роберт Колледже в 1924–1931. Допрос в органах госбезопасности состоялся 7 июня 1951 г.; Асен Христофоров был обвинен в связях с британской разведкой.⁸ В фондах Асена Христофорова, хранящихся в Центральном государственном архиве (ЦГА) в Софии, были найдены несколько последовательных выпусков ежегодников, которые издавали студенты Роберт Колледжа. В ежегоднике за 1931 г. содержится краткая информация о Лазаре Голдмане, упоминается его участие в студенческой жизни и приводятся материалы и фотографии, относящиеся к постановке (на английском языке) «Венецианского купца» Шекспира, где Голдман играл главную роль — Шейлока: «Лазар Голдман играл замечательно... И костюм, и голос, и осанка его были очень убедительны. Он доминировал на протяжении всего спектакля».⁹

Остается неясным, как и когда Лазар Голдман начал заниматься переводами. Возможно, интерес и знание литературы пришли к нему еще в студенческие годы; в вышеупомянутом ежегоднике и в других источниках упоминается, что он был литературным редактором студенческих изданий.

В ежегоднике приводится также шутивное четверостишие самого Голдмана по-английски:

*“In studies and plays I act well my parts,
Yet what most I crave is to be great:
To surpass the glories of the Bonapartes
And prove my gifts before it’s too late.”*

(«Я хорошо играю свои роли и в классе, и на сцене,

Но более всего меня влечет величие:
Хочу превзойти славу всех Бонапартов
И доказать свои таланты, пока не поздно.»)

Предисловие к первому изданию болгарской «Алисы» (1933), упомянутое выше, было написано болгарским поэтом и переводчиком Николаем Лиловым. Мы решили заглянуть в его архивы, которые хранятся в Национальном литературном музее в Софии. Среди множества писем и открыток от всевозможных болгарских писателей, художников и других интеллигентов нашлось доброе и скромное письмо от Лазара Голдмана, датированное 4 ноября 1933 г. Он писал Лилеву о переводе «Алисы»: «Я хотел бы поблагодарить Вас за внимание, которое вы уделили моему переводу... И если я осмелился просить Вас прочесть перевод, то только потому, что оригинал настолько прекрасен...»¹⁰

За «Алисой» последовали переводы книг «Эмиль и сыщики» Эриха Кестнера (1934) и «Моби Дик» Германа Мелвилла (1935). В 1937 был опубликован перевод пьесы Юджина О’Нила «Марко-миллионщик» с подробным предисловием самого Голдмана, где он давал анализ пьесы и драматургических приемов О’Нила. Нам не удалось установить, была ли пьеса поставлена в Софии, но она была известна в театральных кругах того времени. Ее упоминает журналист и переводчик Владимир Свинтила в воспоминаниях о писателе Павле Вежинове: «Сегодня мы беседовали о театре... Он прочел пьесу “Марко-миллионщик” в знаменитом переводе Лазара Голдмана».¹¹

Последний опубликованный перевод Голдмана был сделан совместно с д-ром Карлом Огняновым (1916–1987, акушер-гинеколог). Это был исторический роман Говарда Фаста «Гражданин

Том Пейн» (1946). Книга состоит из двух частей, и каждый из них перевел одну часть. К этому времени в Болгарии был уже установлен коммунистический режим, и выбор автора был не случаен: молодой Говард Фаст (1914–2003) был тогда активным членом Коммунистической партии США. (А «буржуазные» авторы вроде Юджина О’Нила уже были не в чести.) В финансовом отчете об этом издании, сохранившемся в архивах издательства Чипева, Лазар Голдман также упомянут как корректор.¹² Как мы видим, недолгая карьера Голдмана как переводчика внесла весьма солидный вклад в относительно небольшой список переводной литературы, издававшейся в то время в Болгарии.

В то время как перевод «Алисы» не раз издавался в Болгарии, начиная с 1965 г., следы самого Лазара Голдмана полностью исчезают после 1946 г. Переиздание также включало первый болгарский перевод второй книги об Алисе, «Зазеркалье», сделанный Стефаном Гечевым. Интересно, что в мемуарах Гечева Голдман ошибочно именуется «Голдштейн».¹³

С помощью Иванки Гезенко, специалиста Центрального государственного архива в Софии, нам удалось обнаружить документы Болгарского национального банка, датированные 1941–1943 гг. Среди них было заявление Голдмана на эмиграцию из Болгарии в Палестину. Были приложены декларации об имуществе, заявление для получения паспорта, справка о выселении. Приводились и точные дата и место рождения Лазара Голдмана: 23 июня 1909, София — это значит, что он перевел «Алису», когда ему было 23–24 года! В бумагах было упомянуто, что он работает чиновником, полное имя: Лазар-Волф Шайе Голдман.¹⁴ Его родители были родом из Румынии. Список вещей для таможенного осмотра включал книги, словари и диплом из Роберт Колледжа...

Мы начали поиск в Израиле и Иерусалиме: в библиотеках, архивах иммиграции, еврейских организациях там и в Болгарии — безрезультатно. Мы просмотрели десятки интернетных статей, каталогов, всевозможные базы данных, словари и справочники, даже телефонную книгу

Софии за 1949 г. в поисках следов Лазара Голдмана — но ничего не нашли.

Тогда поиски были перенаправлены на издательство «Тодор Ф. Чипев», в архивах которого мы надеялись найти какую-то переписку относительно переводов Голдмана. Таким образом мы отыскали внука издателя, д-ра Константина Чипева, ныне молекулярного биолога в США (Университет штата Нью-Йорк, Стони Брук). К нашему удивлению, он направил нас к д-ру Джудит Вермут-Аткинсон — писателю, преподавателю всемирной литературы и философии в Университете Колумбия, Нью-Йорк — и родственнице семьи Лазара Голдмана! Ее рассказ полностью изменил направление наших поисков: оказалось, что Голдман и его родственники действительно уехали из Болгарии после войны — но не в Палестину, а в Америку.

Но еще до эмиграции в жизни Лазара произошли многие важные события. Его активное участие в театральной жизни колледжа в Стамбуле и одобрительные рецензии были не случайны. Окончив Роберт Колледж в 1931 г., Лазар Голдман отправился в Берлин, где он около двух лет обучался актерскому мастерству у знаменитого режиссера Макса Рейнхардта (1873–1943, настоящее имя Максимилиан Гольдман. Сходная фамилия, скорее всего, является совпадением, так как семья Рейнхардта происходила из Венгрии).

Затем Голдман около года учился в Лондоне на юриста. К началу Второй мировой войны он возвращается в Софию. Там, через семью своего кузена Алексиса Вайссенберга,¹⁵ ученика знаменитого болгарского композитора Панчо Владигерова (1899–1978), Лазар знакомится со своей будущей женой, пианисткой Рут Голдберг, также ученицей Владигерова.

Болгария вступила в войну в 1939 г. на стороне нацистской Германии. Хотя болгарским евреям удалось в основном избежать гибели в Холокосте, тысячи их преследовались и принудительно помещались в трудовые лагеря. В 1943 г. семья Голдмана была выселена из Софии. Имена Лазара Голдмана и его матери имеются в списке более чем 600 еврейских семей, насильственно

высланных в Кюстендил.¹⁶ Лазар Голдман не избежал трудового лагеря, где он находился около 10 месяцев. Название лагеря нам установить не удалось: между 1941 и 1943 в Болгарии их было около 100.

Сразу же после окончания войны, Лазар и Рут Голдманы, уже поженившись, смогли покинуть Болгарию. Они поселились в Париже, где Лазар работал в известной благотворительной организации «Джойнт» (Joint Distribution Committee), которая помогала евреям и жертвам войны. (Около 32 000 евреев покинуло Болгарию в 1948–1949; в настоящее время еврейское население страны составляет не более 1000 человек.)

После 1950 г. Голдманы переезжают в США. Лазар Голдман никогда более не занимался литературой или переводами. Много лет он проработал в нью-йоркской торговой компании. Он умер в 1995 г.

Экземпляр первой болгарской «Алисы» 1933 г. издания был послан этим летом через океан в подарок дочери Лазара, Сильвии Голдман, которая поведала нам эту захватывающую историю его жизни после окончания колледжа. Она же любезно предоставила нам фотографию Лазара Голдмана 1970-х годов, где он снят перед из домом в Лонг-Айленде, Нью-Йорк. Мы рады, что поиски оказались успешными, и что мы смогли выразить нашу запоздалую благодарность Лазару Голдману за его «Алису», которая вот уже почти 90 лет украшает множество книжных полок в Болгарии.

В дополнение к нашей истории необходимо упомянуть о малоизвестном и неожиданном значении перевода Голдмана для *русских* переводов Кэрролла. «Классический» перевод обеих книг «Алисы» на русский язык принадлежит знаменитой московской переводчице Нине Михайловне Демуровой (1930–2021). Однако впервые опубликован он был не в СССР, а в Болгарии (София, Издательство литературы на иностранных языках, 1967). В Москве существовало агенство «Международная книга», заказывавшее переводы и книги из «стран народной демократии». Переводы, как вспоминала Демурова, «делались в той

стране, где вышла книга, печатались они тоже там: как правило, полиграфия у них была гораздо лучше нашей, причем, конечно, использовалось их оформление. ...В один прекрасный день чиновник, сидевший в «Межкниге», просматривая списки книг, вышедших на болгарском языке, увидел вдруг название «Алиса в Стране чудес и Зазеркалье». И заказал перевод — 100 000 экземпляров! — с болгарского на русский!! Софийские издатели пришли в смятение: было ясно, что в Болгарии переводчика «Алисы» не найти, ни с болгарского, ни тем более с английского». По стечению случайных знакомств отыскали в Москве Н. М. Демурову, которая как раз преподавала «Алису» и понемногу переводила ее для своих студентов. «Алиса» была опубликована по-русски в Болгарии, а тираж привезли в СССР и продавали в сети магазинов «Дружба»; книга сразу же стала дефицитом...

Болгарская же книга, о которой идет речь — это и было первое после 1933 г. переиздание перевода Голдмана (дополненная второй книгой, «Зазеркалье», в переводе Стефана Гечева) (София: Народна младеж, 1965, 212 с.). В русскоязычном издании было воспроизведено все оформление болгарской книги, включая иллюстрации известного художника Петара Чуклева (р. 1936). Впоследствии в СССР и России перевод Демуровой переиздавался множество раз (насчитывается около 200 переизданий), но иллюстрации Чуклева никогда больше не использовались.

Так «плод крылатого воображения» молодого Лазара Голдмана, болгарского еврея, изучавшего английский в американском колледже в Турции, способствовал появлению одного из лучших переводов «Алисы» на русский язык, изданного в Болгарии. Сам Льюис Кэрролл наверняка был бы чрезвычайно рад такой игре парадоксов в духе его Страны чудес и Зазеркалья...

Мы искренне благодарны Джозефу Бенатову, Джудит Вермут-Аткинсон, Иванке Гезенко, Сильвии Голдман, Ивану Держански, Неве Мичевой, Марии Пипевой, Алекси Попову, Орлину Сабеву и Константину Чипеву за их любезную помощь.

Мы благодарим Лору Петрову за помощь при подготовке английской версии этой статьи, которая планируется к выходу в журнале Североамериканского общества Льюиса Кэрролла *The Knight Letter*. Болгарская версия была опубликована А. Жековой под названием «Закъсниели рози за Лазар Голдман [Запоздалые розы для Лазара Голдмана]», «Литературен вестник», София, 2021, 23, с. 12–13 (16 июня 2021).

Примечания

¹ Derzhanski, Ivan. Alice in Bulgarian: Fruit of a winged imagination [Алиса на болгарском: Плод крылатого воображения]. In: J. A. Lindseth, A. Tannenbaum (eds.), *Alice in a World of Wonderlands: The Translations of Lewis Carroll's Masterpiece*, Oak Knoll Press, 2015, v. 1: Essays, pp. 174–177.

² Русев, Р. Луис Карол, Алиса в страната на чудесата. *Литературен глас*, 1934, № 217, с. 7 (на болг. яз.)

³ Pipeva, Maria. Bulgarian translations of Lewis Carroll's works [Болгарские переводы Льюиса Кэрролла]. *The Carrollian: The Lewis Carroll Journal* No. 5 (Spring 2000), pp. 20–32.

⁴ Пипева, Мария. Детска литература. В кн.: *Преводна рецепция на европейска литература в България в 8 тома*. Т. 1. Съст. Александър Шурбанов, Владимир Трендафилов. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, с. 212–213 (на болг. яз.)

⁵ Все поиски в болгарских архивах и библиотеках велись первым автором, библиографом в Национальной библиотеке (София, Болгария). Второй автор помогал с поисками в Интернете.

⁶ Събев, Орлин. *Просветени на Изток с лъчите на Запада. Българската ученическа колония в Цариград (XIX–XX век)* [Просвещенные на Востоке светом Запада. Болгарская студенческая колония в Константинополе (XIX–XX век)]. София: Авангард прима, 2019, с. 485 (на болг. яз.)

⁷ *Robert College, Catalogue of Students 1921–1928*. Constantinople.

⁸ Христофоров, Асен. *Избрани произведения и документи в 3 тома*. Т. 3. *Автобиографични произведения и документи*. София: БНБ.

2010, с. 327–328 (на болг. яз.). Протокол допроса № 22. https://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_publication/pub_history_heritage_ah_03_bg.pdf

⁹ ЦГА, София, ф. 782К, ч. 2, оп. 13 л. 27, 80, 82

¹⁰ Национальный литературный музей, София, инв. ном. a1070/82/789

¹¹ Владимир Свинтила. — В: *Книга за Павел Вежинов*. Съст. Атанас Свиленов. София: Български Писател, 1986, с. 395 (на болг. яз.)

¹² Национальная библиотека им. Св. Кирилла и Св. Мефодия, София, Болгарский исторический архив, ф. 501, оп. 7, л. 177.

¹³ Басат, Емил. *Преводът — лица и маски: портрети на български преводачи* [Перевод — лица и маски: портреты болгарских переводчиков]. Том 1. София: Райндал, 2007, с. 218 (на болг. яз.)

¹⁴ ЦГА, София, ф. 285К, ч. 7. оп. 7313

¹⁵ Алексис Вайссенберг (1929–2012) — пианист-вундеркинд, ученик Владигерова с трехлетнего возраста. Впервые выступил в возрасте 8 лет (1937). В 1941 Алексис с матерью пытались бежать из Болгарии в Турцию, были пойманы и помещены в концлагерь, где провели три месяца. В лагере была немецкая охрана: возможно, предполагалось выслать заключенных в оккупированную Польшу для уничтожения. Им помог бежать немецкий охранник, услышавший, как Алексис играл на аккордеоне Шуберта; охранник отвез их на станцию и со словами «желаю удачи» забросил им в окно аккордеон (По словам Вайссенберга, «удача иногда порождает маленькие чудеса», и «Нашим неожиданным моментом удачи был музыкальный инструмент, добрый старый аккордеон»). Они добрались до Палестины, где Вайссенберг играл в оркестре под руководством Леонарда Бернстайна. В 1950-х гг. он переехал в Париж и стал гражданином Франции. (Alexis Weissenberg obituary. *Los Angeles Times*. 10 January 2012).

¹⁶ ЦГА, София, ф. 190К. ч. 3, оп. 183

Анриета Жекова родилась в Болгарии в 1968 г. Работает библиографом в Национальной библиотеке Болгарии имени святых Кирилла и Мефодия (София)

с 2015 г. Интересы лежат в области литературы и истории литературы.

Виктор Фет — зоолог, 1955 г.р., в США с 1988, Преподаёт биологию в Университете Маршалла (Западная Виргиния). Опубликовал шесть книг стихов по-русски. Составитель сборников «День русской зарубежной поэзии» (Франкфурт, 2019–2021). Автор очерков о Кэрролле и Набокове. Издательство «Evertime» (Шотландия, www.evertime.com) в 2016 г. выпустило его перевод «Охоты на Снарка» Л. Кэрролла, а также фантазию «Алиса и машина времени» (2016, по-английски и по-русски).

ПАМЯТИ НИНЫ МИХАЙЛОВНЫ ДЕМУРОВОЙ

11 июля 2021 в Москве скончалась Нина Михайловна Демурова (1930–2021), знаменитая переводчица на русский язык обеих книг Льюиса Кэрролла об Алисе (София, 1967) и исследователь творчества Кэрролла. Ее переводы, которые считаются «каноническими», перепечатывались более 200 раз. Они удостоились даже попасть в самую престижную советскую серию «Литературные памятники» (1978)!

Много лет Нина Михайловна преподавала английский язык, современную и детскую английскую и американскую литературу в МГУ и МГПИ. Именно по её инициативе впервые было введено в университетские курсы преподавание детской литературы как филологической дисциплины. Помимо Кэрролла, Н. М. переводила Честертона, Эдгара По, Диккенса, Апдайка, Дженнифер Гарнер, Р. К. Нарайана, Брет Гарта. Она была почётным членом Обществ Льюиса Кэрролла в Англии и США, а также английского Общества Беатрис Поттер.

А ее самым первым переводом был «Питер Пэн» Дж. Барри, которому пришлось ждать выхода 12 лет. Н.М. вспоминала: «Эта книга долго не выходила. Издательство “Детская литература” вроде хотело ее взять, но при этом говорило, что эта сказка не для советских детей: мальчик зачем-то летает, родители нанимают в няньки собаку, горничная — маленькая девочка, а это

эксплуатация детского труда, капитан Крюк, который вечно думает о том, джентльмен он или не джентльмен, тоже персонаж подозрительный...»

И Кэрролл, и Демурова навсегда оставили отпечаток на моих собственных литературных упражнениях и пристрастиях. Английский я изучал в 60-х годах в известном распаднике будущих эмигрантов, 130-й школе новосибирского Академгородка. В 1973 г., на третьем курсе НГУ, мне в руки попала глава из «Охоты на Снарка», которую я, по молодости не смущаясь, и перевёл. Потом перевел и всю не-так-уж-легко-переводимую поэму — и послал ее в Москву Н. М. Демуровой, известной мне уже не только по «Алисе», но и по замечательной статье «Голос и скрипка» (Сб. «Мастерство перевода», 1970)—которую я до сих пор перечитываю. Был потрясён, получив обстоятельный, приветливый ответ и первую в своей жизни литературную критику. Завязалась переписка. Работа была закончена в 1981 г., но опубликована только двадцать лет спустя, в сборнике НГУ «К востоку от солнца» (2001). Уехав в Америку, я на много лет потерял контакт с Н.М., но возобновил его в 2005 с помощью нашего друга, московского зоолога Николая Формозова...

В 2008 г. Н.М. любезно опубликовала мою главу о переводе «Снарка» в замечательной книге «Картинки и разговоры» (СПб: «Вита Нова»). Эта уникальная книга-форум содержит интервью и очерки о русских переводах и пересказах Кэрролла, об их подробностях и судьбе; о людях, создававших мир вокруг Кэрролла, его «Алисы» и других произведений; о созданных по их мотивам иллюстрациях, книгах, спектаклях, фильмах, операх, играх... Все участники были объединены своей страстью к Льюису Кэрроллу и его героям.

Н.М. рассказывала («Вопросы литературы», 2009, вып. 2): «Я давно заметила, что в России Кэрролл пользуется особым вниманием и любовью, и я задалась вопросом — почему? Говорят, он прекрасно переведен на французский и немецкий, но во Франции и в Германии Кэрролл никого особенно не интересует. А в России

интерес к нему такой же, как в Англии, а возможно, и больше, и все готовы поделиться своими мыслями о нём...»

На вопрос Демуровой «Чем, по-Вашему, объясняется популярность Кэрролла в России?», на мой взгляд, лучше всех ответила поэт Ольга Седакова (она перевела часть стихов для издания «Алисы» в «Лит.памятиках» в 1978): «Я могу только предполагать: эта воздушная иррациональность, я бы сказала, этот танец смыслов как-то облегчает восприятие окружающего нас абсурда. Российский бытовой абсурд тяжел, безвыходен, может представиться, что он поглощает тебя, как болото, — а здесь тайная игра. С безумными обстоятельствами можно свободно играть! Вот что, мне кажется, утешает и радует отечественного читателя...»

Стараниями замечательного издателя Майкла Эверсона, к 90-летию Нины Михайловны (октябрь 2020), издательство «Эвертайп» (www.evertype.com) опубликовало её перевод «Алисы в Стране чудес» — впервые в Великобритании — на русском языке, Мне выпала честь сделать новые примечания (на английском языке) к этому изданию.

В последние несколько лет я помогаю Эверсону находить новых переводчиков «Алисы в Стране чудес» на неохваченные языки (книга переведена уже на 200 языков!). Нина Михайловна дала нам разрешение на использование её русского перевода как основы (для тех переводчиков, которым нелегко переводить непосредственно с английского). В 2016–2021 гг. нам удалось опубликовать 9 первых переводов на языки бывшего СССР: шорский (Любовь Арбачакова), кыргызский (Аида Эгембердиева),

алтайский (Кулер Тепуков), хакасский (Мария Чертыкова), башкирский (Гузаль Ситдыкова), коми-зырянский (Евгений Цыпанов, стихи в пер. Елены Ельцовой), цыганский (Виктор Шаповал), карачаево-балкарский (Магомет Гекки) и черкесский (кабардинский) (Мурат Братов и Мурат Темиров); готовятся хантыйский и якутский; кроме того, независимо опубликован журнальный вариант перевода на марийский язык. Большинство «наших» переводчиков использовали канонический перевод Демуровой как основу для своих версий, как «мастер-класс» перевода. А я с радостью написал для них подробные «советы переводчику», координируя русский текст Демуровой с английским оригиналом, чтобы добиться максимально возможной, стереоскопической точности при передаче кэрролловской игры слов.

Я приведу только один пример — один пиксель трёхмерной культурной мозаики. Чеширский Кот спрашивает Алису о том, в кого превратился ребёнок Герцогини, такими словами: «Did you say 'pig', or 'fig'?» (Поросёнок или инжир?) В переводе Н. М. Демуровой: «Как ты сказала: в поросёнка или гусёнка?» На коми-зырянском языке Евгению Цыпанову удалось подобрать адекватную игру слов с разным произношением начальных звуков: «Кыдзи тэ шуин: польёпи али лёльёпи?» «Что ты сказала: поросёнок или червячок?»...

Наследие Нины Михайловны живёт теперь не только в переизданиях по-русски, но и на многих новых языках. Её перевод обеих книг «Алисы», которому не так давно исполнилось 50 лет, принёс Кэрролла моему поколению в России. Мы помним и любим её.

Виктор Фет

Виктор Фет

ВОСПОМИНАНИЯ О БАДХЫЗЕ И ГОРЕЛОВЕ

Недавно мне выпала честь, совместно с Р. И. Гореловой, составить и отредактировать электронную книгу «Бадхызские архивы. Том 1». (издание Библиотеки Университета Маршалла, Хантингтон. 2021. 444 с.). Книгу можно бесплатно скачать по адресу: https://mds.marshall.edu/mu_books/ Этот том содержит воспоминания и научную информацию об уникальном Бадхызском заповеднике, ранее в самой южной точке СССР, ныне в Туркменистане. Заповедник, который часто называли «Серенгети Средней Азии», был основан в 1941 г. для охраны многих редких видов животных, прежде всего дикого осла — кулана. Книга посвящена 80-летию заповедника и 90-летию Юрия Константиновича Горелова (1931–2018), замечательного натуралиста, работавшего в Бадхызе в 1956–1978 гг.

Без Горелова немыслима история Бадхызского заповедника в самые яркие и интересные годы его существования. Будет справедливо сказать, что этими годами Бадхыз обязан именно Горелову и его соратникам. В истории Бадхыза несложно выделить четыре периода: до Горелова (1941–1956), «гореловский» (1956–1978), годы до объявления независимости Туркменистана (1978–1991), и время после 1991. Документы, воспоминания, статьи, отрывки, фотографии, собранные в этой книге, в основном охватывают именно «гореловский» период, совпавший с хрущёвско-брежневской эпохой в СССР.

Случай и судьба в 1956 г. забросили на южнейшую окраину дряхлеющей империи этого удивительно свободного и бесстрашного человека, имя которого стало для научных интеллигентов

времён «оттепели» синонимом Бадхыза. Горелов вырос в Болгарии, он был сыном белого офицера-эмигранта, попавшего в Болгарию с эвакуированной армией Врангеля. Коммунисты пришли к власти в Болгарии в 1945 г., когда Юрию было 15 лет. Он окончил Софийский университет и вместе со своей семьёй репатриировался в СССР в 1955 году, после смерти Сталина. Всегда мечтал работать зоологом в экзотических условиях — и получил назначение в Бадхыз, где прожил 20 с лишним лет.

Уникальное сочетание в те времена и в той экзотической местности изоляции и самобытности, энтузиазма и апатии, всеобщего надзора и всеобщей же безалаберности, армейского режима и подпольной свободы, колониального имперства и маргинальной интеллигенции породило ту среду, о которой много ещё будут писать, — если сохранятся свидетельства и документы уходящего уже поколения. Мы попытались собрать ряд таких свидетельств.

В сборник включены собственные невыдуманные истории Горелова, краткая биография, другие биографические материалы, полный список научных публикаций Горелова, а также очерк о Горелове знаменитого российского журналиста Юрия Роста. Воспоминания и фотографии, вошедшие в книгу, предоставили полевые биологи, работавшие в Бадхызе постоянно или в экспедициях. Среди них — видные российские зоологи старшего поколения (Евгений Панов, Николай Дроздов и др.), исследователи, работавшие в поле с Гореловым в 1980–1990-х гг. (Виктор Лукаревский, Александр Горбунов,

Гертруд Нойманн-Дензау, Александр Друк и др.); свидетельства тех, для кого Горелов был ролевой моделью в их юности (Надежда Скалон, Виктор Фет). Важную перспективу дают материалы тех, кто работал на удалённых кордонах заповедника (Виктор Кривохатский, Владимир Крупко). Другие воспоминания о работе в Бадхызе, о его природе и людях — от тех, кто занимался змеями (Владимир Черлин, Валерий Жердин), птицами (Николай Богатырев), насекомыми (Михаил Черняховский, Аскар Ахатов), от приезжавших на практику студентов из Москвы, Ленинграда и т.д. Помимо Горелова, мы отдаём должное памяти других, чья жизнь была тесно связана с Бадхызом — это кинооператоры Владимир Ахмедов и Владимир Потапов, археолог Герман Иванов. Мы даём краткий обзор взлёта и падения численности копытных, и прежде всего трагической истории кулана в Бадхызе. Книга рассчитана на всех, кто интересуется историей науки и охраны природы в Средней Азии и СССР.

О Бадхызе есть фильм BBC, снятый в 1992, его можно посмотреть по адресу: <https://archive.org/details/RealmsOfTheRussianBear/Nature.S11E03.Realms.of.the.Russian.Bear.The.Red.Deserts.1992.VHSRip.AAC2.0.x264-rattera.mp4>

Юрий Константинович Горелов был в моей молодости решающей фигурой, которая, как оказалось, во многом определила течение моей дальнейшей жизни. Для зоологов того времени Горелов и Бадхыз были синонимами, и он был если не первым (заповедник существовал с 1941 года), то самым значительным его научным сотрудником. Энтузиазм Горелова известен и описан, Юрий Рост и другие подробно писали о его борьбе с браконьерами, о его беззаветной и безудержной страсти к охране природы. Можно сказать, что Горелов был тогда моей (и многих других) ролевой моделью, примером самоотверженного полевого натуралиста, который не только изучает животных, но страстно их оберегает.

Я приехал в Бадхыз по окончании Новосибирского университета летом 1976 и работал там научным сотрудником до весны 1978 года. Жил я в усадьбе Бадхызского заповедника на окраине посёлка Моргуновка, усадьба там и по сей день, но сильно перестроена. Когда я в последний (и в первый после 1978) раз приезжал туда весной 2002 года, моего глинобитного домика уже не было. Это была старая саманная хатка с двумя каморками, там была железная пружинная кровать и железная же печка-буржуйка — топили углём, растапливали саксаулом. Из брёвен-балок на мою кровать ночью сыпались термиты, поедающие эти брёвна; они застревали в моей бороде. Я жил в этой хатке с августа 1976 по март 1978, часто выезжая на территорию заповедника, а также порой навещаясь из Бадхыза в «материковую» Россию. В качестве компенсации за экзотику спартанской жизни научным сотрудникам разрешали «перенос рабочего места», т.е. отпуск с сохранением зарплаты, иногда и до месяца — так я бывал в Новосибирске, Москве, Ленинграде.

Вспоминая те годы — и особенно холодную бадхызскую зиму 1977–1978 — понимаю сейчас, что Горелов и его жена Рая были ко мне добры, как близкие люди, и помогли выжить в достаточно спартанских условиях не только физически, но и прежде всего морально. Участие и теплота Гореловых, их обращение со мной как с равным, поддержало и укрепило меня в тот год. Иначе не исключено, что, не имея такой опоры, я бы сдался и вернулся в Новосибирск (свои связи с которым я уже порвал капитально, выписавшись из родительской квартиры в Академгородке — ведь чтобы жить в Кушке, необходима была прописка в погранзоне. Прописка в СССР была важной и часто малодостижимой привилегией, очень многие пытались закрепиться в Академгородке — а я поступил наоборот).

Без поддержки Гореловых меня мог ждать и иной вариант судьбы. Молодёжь, попавшая в Бадхыз, приехав за экзотикой — егеря, охотинспекторы, лесники, да и научные сотрудники — по российской привычке просто спивалась, не

буду называть фамилий. Горелов не пил ни водки, ни жутких местных крепленых вин — «только сухое вино», что уже само по себе тогда придавало ему статус «интеллигента». Сухое вино Горелову в Кушке добыть было не просто — советский дефицит любых товаров доходил и до самой южной точки страны. Как-то я возвращался в Кушку поездом из Москвы (четыре дня) и загрузил целый ящик, половина предназначалась Горелову.

(Поезд этот, с прицепным вагоном Москва-Кушка, был легендарен. Именно на нём предполагалось неосуществившееся путешествие в Бадхыз Высоцкого со Смеховым для гастролей по погранзаставам — план такой поездки серьёзно обсуждался с Вениамином Борисовичем Смеховым, с которым счастливо свела нас судьба на Таганке незадолго до моего отъезда в Бадхыз, в январе 1976 года...)

Горелов (я обращался к нему, конечно, «Юрий Константинович») и Рая («Раиса Ивановна») почти каждый вечер в ту зиму проводили со мной время у себя дома, где было уютно и интересно. Они и подкармливали меня, конечно, из своего нехитрого хозяйства, — хотя я готовил и сам себе всякие макароны с луком, а в деревне брал и молоко, в целом жизнь в Кушке не была сытой — рыбные консервы в магазине были (килька в томате) — иногда мы группой ходили (6 км) в офицерскую столовую в Кушке, где можно было поесть борща и мяса, гражданских туда тоже пускали.

Горелов слушал мои истории об Академгородке (хотя, думаю, мои студенческо-театральные дела были ему не так интересны), а я иногда расспрашивал о его юности в Болгарии — но, в основном, речь была о Бадхызе, о животных, о зоологии, и, увы, по привычке я не слушал, а сам болтал. А надо было гораздо больше расспрашивать и записывать. Впрочем, Горелов тоже любил «потёпаться» и вряд ли вообще много записывал, а жаль. (Его грассирование, кстати, было натуральным дефектом речи, хотя в советских фильмах белые офицеры грассировали — на самом деле это была петербургская традиция

аристократов, так говорил Набоков, — и было лестно записать картавость Горелова по части его белогвардейского происхождения...)

И, конечно же, именно Горелов укрепил мою копившуюся с детства страсть к Болгарии — с её понятным алфавитом и чудесным твёрдым знаком, впервые приведшим меня к словарям. (В болгарском твёрдый знак — особая гласная, произносимая как краткое «а». В нём запечатлено расхождение языков от общего предка — род дарвиновской эволюции.) Через 30 лет я с гордостью рассказывал Горелову о нашем томе «Биогеография и экология Болгарии» (Fet & Pоров, eds., 2007). Истоки этого проекта работы с замечательными болгарскими натуралистами, конечно же, тоже шли от Горелова, который легко передал мне увлечение балканской природой своего детства и юности. В Болгарии, куда я всегда стремился и где впервые побывал в 1999 г., старшее поколение зоологов хорошо помнило Горелова.

Горелов был истинным натуралистом во всех отношениях. Сказано немало о его практической деятельности, но он постоянно схватывал своим острым глазом и лучшие редкости нашей теории (тогда, задолго до появления анализа ДНК, ещё очень незрелой) — не зря штудировал он в болгарской юности Дарвина и Северцова. Именно он легко открыл мне в своей библиотеке страницы лучших трудов о Средней Азии (а ведь как невероятно трудно было тогда даже увидеть эти разрозненные книги!) — и за несколько месяцев усилил и развил мою страсть к зоогеографии. Узнав о моей страсти к паукообразным, Горелов сразу же доверил мне анализ единственного экземпляра необычного, редчайшего скорпиона. Зоркий глаз Горелова обратил внимание на эту мелкую тварь, которую он собрал 19 апреля 1974 г. в Еройландузе, у родника, носящего имя легендарного А. А. Башенко. В лучших традициях колониальных имперских зоологов России, Горелов передал необычного скорпиона в петербургский Зоологический институт (ЗИН). Я побывал там впервые в 1977 г., нашёл этот экземпляр и сравнил его с обширной музейной коллекцией. Это оказалась первая в пределах СССР находка

редчайшего иранского рода *Kraepelinia*. (В Бадхыз заходит много иранских и афганских видов, не встречающихся далее к северу.) Уникальный эндемик был мною опубликован в 1984 г. с благодарностью Горелову.

Юрий Константинович охотно делился своими контактами и именно он знакомил нас, молодых натуралистов, с лучшими зоологами Москвы и Питера — рекомендация от Горелова была лучшей визитной карточкой, что в ЗИНе, что в МГУ. Он же всегда рекомендовал наши публикации во все научные журналы — московский «Зоологический журнал», питерское «Энтомологическое обозрение» — и, конечно же, «Известия АН Туркменской ССР» в Ашхабаде; в их дружественную редакцию в начале 1980-х я входил, не снимая пыльных сапог, и доставал из рюкзака очередную машинопись... Мы были учениками Горелова в лучшем смысле этого слова, хотя он никогда не занимал преподавательской должности; и многие из нас, ставших профессорами по всему миру, до сей поры хранят традицию Горелова и ему подобных в преподавании: увлекать учеников-натуралистов собственным примером бесконечной жажды новых знаний и дерзких обобщений.

Много лет спустя, в последний год жизни Горелова, мы с коллегами назовём в его честь новый вид скорпионов из Туркмении: *Olivierus gorelovi* (Fet et al., 2018) (семейство Buthidae). Зоолог Георгий Шенброт ещё в 1986 г. описал по сборам Горелова ископаемого тушканчика из Бадхыза, *Salpingotus gorelovi*. Но похоже, что наш скорпион — единственный ныне живущий зоологический вид, носящий имя Юрия Константиновича. А ведь Горелов помогал десяткам, если не сотням приезжих зоологов, которые продолжают описывать множество новых видов — особенно в наши дни, когда с помощью кодов ДНК нам ближе открылась истинная глубина «биоразнообразия».

Скорпион *Olivierus gorelovi* — обычный в тех краях и самый крупный «жёлтый скорпион», ранее известный в литературе как *Mesobuthus caucasicus*. Он обитает по всей равнинной Туркмении и заходит в Бадхызе на территорию

заповедника; однако далее к югу, в предгорьях Паропамиза — т.е. в долине реки Кушки и в самой Моргуновке — он сменяется другим, южным видом того же рода, *O. parthorum*. Я рад, что Горелов успел узнать об очередном подтверждении своих излюбленных зоогеографических выкладок о Бадхызе как о переходной границе между гигантскими «выделами» — эволюционными регионами: иранско-афганскими горами и великими пустынями Азии.

Тогда же, зимой 1977–78 г., когда мы с Юрием Константиновичем обсуждали зоогеографию Туркмении, я писал — и с удовольствием читал эти стихи Гореловым:

КРАЙ

Между Теджена и Мургаба,
Между текущих с юга рек,
Лицом на Запад, где Кааба
И смутный образ новых Мекк,
Обороти лицо к Востоку,
Куда купцы ходили встарь,
Вознёсся Крест неподалёку,
И Солнце всходит на алтарь.

За Кушкою, за южным краем
Нет ни холмов, ни чуждых стран,
Бадхыз, волною омываем,
Воткнулся прямо в океан.
Суровый ветер, из норд-остов,
Не с шора в нем, а с моря соль,
Тогда «Бадхызский полуостров»
Именован тебя позволь.
Недаром виделся всегда нам
Мираж морей, где Кепеля:
Лежит, омыта Океаном
По краю, плоская земля.
Вошёл в ландшафт иного мира
Чужий тревожащий озон,
И бьются волны о баиры,
О берега аридных зон,

И звёзды видятся иначе,
И как бы знаком Крайних Мест
Кресту Кушкинскому впридачу
На небе всходит Южный Крест.

(Здесь, конечно, присутствует мой любимый «Рубрук в Монголии» Заболоцкого, никогда меня не покидавший; книгу с этой поэмой я купил в пустынном казахском посёлке на реке Чу в студенческой экспедиции 1974 года...) «Край» должен был быть поэмой и имел подзаголовок «Путешествие полковника Йейта в 1888 году с целью проведения Русско-Афганской границы по Северному Афганистану и Южной Туркмении, с присовокуплением философических размышлений полковника об условности каких бы то ни было граней вообще». Английский полковник (Charles Edward Yate, 1849–1940) — лицо историческое. Комиссия по разграничению действовала в 1885–88 гг. У меня была его книга 1888 года, купленная в питерском букинисте, в ней мы с Гореловым внимательно рассматривали подробную карту тех времён. Та же комиссия сопровождалась первыми в регионе исследованиями ботаника Эйчисона (Aitchison, 1888). Бадхыз был последним рубежом, где прошла граница между зонами

влияния Российской и Британской империй — «Большая игра» Киплинга.

А много лет спустя, когда я посетил в последний раз заповедники Туркмении, у меня сложились эти строки о глине и песке:

БАДХЫЗ И РЕПЕТЕК

На пороге нового века
Запиши в листки дневника:
От Бадхыза до Репетека —
Море глины и тьма песка.

За закатною тенью длинной
Образ мысли давно знаком:
Что Бадхыз не покроеет глиной,
Репетек занесёт песком.

Здесь кончается наша виза —
Из-под плотно закрытых век
Всё, что вспомнилось для Бадхыза,
Навсегда сотрёт Репетек.

18 апреля 2002, Репетекский заповедник

Елена Пацкина

БЕСЕДЫ С МУДРЕЦАМИ. КОНФУЦИЙ

На днях наш друг, независимый журналист М. Михайлов, набравшись смелости, мысленно погрузился в глубь веков и вступил в воображаемую беседу с самим Конфуцием.

Конфуций (ок. 551–479 до н.э.) — древнекитайский мыслитель, этико-философское учение которого оказало огромное влияние на жизнь и культурное развитие Дальнего Востока. Его философия строится на морали, этике и жизненных принципах взаимоотношений между людьми. На ее основе появилась концепция, господствовавшая в Поднебесной более двух тысяч лет (и продолжающая оказывать свое влияние и в наши дни). Главной книгой конфуцианства является «Лунь юй» («Беседы и суждения») — записки и краткие заметки учеников Конфуция, в которых зафиксированы высказывания, поступки и диалоги их учителя.

«Красота есть во всем, но не всем дано это видеть»

М. — Уважаемый Учитель, остроумный французский писатель Жюль Ренар как-то заметил: «Жизнь — это ящик, полный колющих и режущих инструментов. Всякий час мы калечим себе руки до крови». Вы, мудрейший из мудрых, наверняка знаете, как суметь пройти свой путь в этой сложной и непонятной жизни без серьезных увечий.

К. — На самом деле, жизнь проста, но мы настойчиво её усложняем.

М. — Если и усложняем, то непредумышленно, по неразумию. Великий русский историк В. Ключевский писал: «Жизнь учит только тех, кто её изучает». Как обрести правильное понимание жизни?

К. — Три пути ведут к знанию: путь размышления — это путь самый благородный, путь подражания — это путь самый легкий и путь опыта — это путь самый горький.

М. — Если выбрать благородный, то чему следует учиться, чтобы добиться успеха?

К. — Учение без размышления бесполезно, но и размышление без учения опасно.

М. — Понятно: заучивать истины, не обдумывая их, может и попугай. А размышления без знаний ведут к ошибкам. А если человек все-таки ошибся — ведь без этого не проживешь — что делать?

К. — Когда, совершив ошибку, не исправил ее, это и называется совершить ошибку.

М. — Значит, главное, вовремя понять и исправить. А ведь признать свою ошибку способен не каждый. Этому надо учиться всю жизнь, проходя по горькому пути опыта.

К. — Учитесь так, словно вы постоянно ощущаете нехватку своих знаний, и так, словно вы постоянно боитесь растерять свои знания.

М. — Для этого нужны серьезные стимулы — для чего все усилия?

К. — В древности люди учились для того, чтобы совершенствовать себя. Нынче учатся для того, чтобы удивить других.

М. — Первый стимул мне ясен, а второй — не очень. Зачем стараться кого-то удивлять? Люди могут нас неправильно понять.

К. — Я не огорчаюсь, если люди меня не понимают, — огорчаюсь, если я не понимаю людей.

М. — Что Вы называете пониманием людей?

К. — Не поговорить с человеком, который достоин разговора, значит потерять человека. А говорить с человеком, который разговора не достоин, — значит терять слова. Мудрый не теряет ни людей, ни слов.

М. — Бывает, что неглупый и даже талантливый человек, с которым интересно беседовать, подводит вас в любой сложной ситуации, а потом ведет себя как ни в чем не бывало. Стоит ли продолжать с ним общение?

К. — Я не понимаю, как можно иметь дело с человеком, которому нельзя доверять? Если в поезде нет оси, как можно на ней ездить?

М. — Это верно. А достоин ли дружбы человек, который все время предъявляет близким претензии, потому что считает, что все ему что-то должны?

К. — Благородный человек предъявляет требования к себе, низкий человек предъявляет требования к другим.

М. — Путь благородного человека слишком труден. Немногие могут на нем преуспеть.

К. — Драгоценный камень нельзя отполировать без трения. Также и человек не может стать успешным без достаточного количества трудных попыток.

М. — Сделает ли такой труд человека счастливее?

К. — Пришло несчастье — человек породил его, пришло счастье — человек его вырастил.

М. — Вы думаете, всё в руках человека? Ведь во многих случаях счастье и несчастье приходят внезапно, сваливаются «как снег на голову». Впрочем, тут речь идет о событиях, радостных или трагичных. А что Вы называете счастьем?

К. — Счастье — это когда тебя понимают, большое счастье — это когда тебя любят, настоящее счастье — это когда любишь ты.

М. — Это действительно счастье, но слишком хрупкое. Говорят, от любви до ненависти — один шаг. Ведь нередко супруги, когда-то пылавшие взаимной страстью, через годы совместной жизни становятся противниками, ненавидящими друг друга. Также и бывшие друзья становятся заклятыми врагами. А ненависть — тяжелое чувство.

К. — Если ты ненавидишь — значит, тебя победили.

М. — Стоит ли побежденному мстить обидчику?

К. — Перед тем как мстить, вырой две могилы.

М. — Это верно. Себе дороже. Лучше просто уйти подальше. Но как вести себя, чтобы твои друзья не стали врагами?

К. — Мудрый человек не делает другим того, чего он не желает, чтобы ему сделали.

М. — Это воистину должно стать главным правилом жизни. Однако даже умный и добрый человек не всегда счастлив в личной жизни. А вот найти своё призвание — это действительно дар судьбы. «Благословен тот, кто нашел свое дело в жизни; большего нам не дано», — считал английский философ, писатель и историк Томас Карлейль. Вы с ним согласны?

К. — Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни.

М. — Да, видимо, это творчество, в чем бы оно ни заключалось. Впрочем, ко всякому занятию можно относиться творчески. Тот же Карлейль писал:

«Всякий труд благороден, и благороден один лишь труд». Главное, думаю, увидеть красоту в любом деле, даже когда она неочевидна.

К. — Красота есть во всем, но не всем дано это видеть.

М. — А как помочь другим увидеть красоту в обыкновенных буднях, в природе и людях, в окружающем мире? Ведь каждый воспринимает всё по-своему? Вряд ли тут поможет добрый совет.

К. — Советы мы принимаем каплями, зато раздаём ведрами.

М. — Давать советы мы очень любим. Как точно сформулировал американский писатель А. Бирс: «Совет: самая мелкая монета из тех, что имеются в обращении». Но капля Вашего совета была бы для меня драгоценна. Что Вы скажете нам на прощание?

К. — Три вещи никогда не возвращаются обратно — время, слово, возможность. Поэтому: не теряй времени, выбирай слова, не упускай возможность.

М. — Благодарю, Учитель, за это мудрое наставление. Его следует постоянно помнить в этом мире, который знаменитый философ А. Шопенгауэр горько назвал «госпиталем для неизлечимых».

К. — Можно всю жизнь проклинать темноту, а можно зажечь маленькую свечку.

На этой жизнеутверждающей фразе закончилась наша беседа с великим китайским мудрецом...

Елена Пацкина. Окончила Московский авиационный институт по специальности инженер-экономист. Автор нескольких книг стихов (Уходящая натура, Фотография минуты, Счастливый дилетант и др.) Автор серии «Беседы с мудрецами» (более семидесяти персонажей, начиная с Эпикура, Демокрита и других античных авторов до Курта Воннегута, Агаты Кристи и пр.).

Фаина Косс

ЛЮБОВЬ И ПАНДЕМИЯ

Часть первая. ЗИМА (отрывок)

Итак, моя жена от меня отреклась, и на прощание прокляла, совершив некий короткий и значительный ритуал из таинственных телодвижений ее рук, управляющих воздушными потоками в нашей комнате, брызгами воды на меня и по всем углам и неразборчивого бормотания, повторяющего себя в определенном ритме — тихое и зловещее заклинание, я так понимаю, — ничего хорошего мне не сулившего.

Я хотел обнять ее и успокоить. Снять ее боль. Но она выкинула руки вперед ладонями, защищаясь и выкрикивая что-то враждебное. И я подумал: «Ладно, если ей станет легче. Пусть. В конце концов, я тоже должен быть наказан за то, что сумел погасить в ней любовь. Растоптать святое». Как я ухитрился это сделать — не знаю. День за днем, по капле уходила радость и свежесть общения. Пока не обнажилась суть. Мы исчерпали друг друга. Между нами пустота.

х х х

Зима поставила белоснежную печать, утвердившись в правах на мир.

Жена моя пришла пару раз за вещами, и потом я жил успокоенной и пустой жизнью: бесконечные дни, бессонные ночи.

«О-о, о-о, о-о. А-а, а-а, а-а. Е-е, е-е, е-е. У-у, у-у, у-х!»

Это мне отказали в выпивке в баре. Я хохочу и вою по-своему, от неудовлетворенного страдания. Я пою этим вредным людишкам: «Цвети, любовь моя, среди зимы-ы-ы». Выкинули на улицу, чтоб не выл в неполюженном месте.

Солнышко, заштрихованное проходящей мимо дождевой тучей, вошло со мной в контакт, запустив в меня лучиком. И, представляете? — заговорило ж: «Так ты никого не любил? Так тебе кажется?» Я простонал: «У-б-бедила», сам не зная что говорю. «Не-на-ви-жу».

х х х

После чего я оказался в своей квартирке, на моей уютной, скаречно отапливаемой мансарде (зато поближе к небесам), рухнув на диван-кровать, посреди отчаянного хоровода окружающих меня предметов.

Закрыв глаза, я услышал свое внутреннее радио: скоростная депеша на злобу дня: «Не прерывай свою жизнь рано. Спасение может не успеть прийти».

Я махнул рукой на это нравоучительное предостережение ТАМОШНЕЙ канцелярии и сердечно выругался.

Я провалялся так неделю, выкарабкиваясь из дому только за бутылкой. Я не носил защитную маску, как все. Я решил умереть — пусть меня отовсюду гонят. Напоследок я пополз в парк, попрощаться с белками.

На моей законной скамейке сидела девочка с голубым взглядом и подманивала моего Черныша. Любимую белку, мою фаворитку. И Черныш, предатель, аккуратно уплетал орешки, чуть ли не у нее из рук. Но я не ревновал.

Я понял, что здесь, на беличьем плацдарме, помимо меня, появилась еще одна бродяжка. Юное явление, почти ребенок. Две косицы торчат, как стрелки компаса ее передвижений. На вопрос: «Где ты живешь?» — она сказала: «В романтическом месте, где живут бездомные».

Голубой взгляд славяночки, ни на чем особенно не зафиксирован, а поглотил все сразу. В ее анютиных глазках пела бесконечность, и белые косички торчали локаторами. Кого она призывала? Никого в особенности. Волшебный маячок. О чем, сама не ведает.

Белки замерли у моих колен, вытягивая передние лапки за подачкой. Как это я о них забыл? Из моего пакетика беспорядочно посыпались орешки. Это я онемел от ее присутствия. У ног моих шла борьба за корм, и я не вмешивался. Потому что она начала исчезать. Встала, повернула локаторы косичек и двинулась к реке. Я так и остался стоять на месте, ударенный молнией внезапного. Я и шагу не посмел сделать ей вслед. Кто я такой, чтобы нарушать святое?

х х х

Новая любовь.

В разгар смертельной эпидемии, в городе, заваленном трупами, я был инфицирован новой любовью.

В Нью-Йорке объявлен карантин. Ни одного лишнего шага из дома. Все мы задрапированы в душевные маски. Предсмертный карнавал «ковид19». Корона-вирусная пандемия.

Она кормила моих белок орешками. Вернее, она не возражала кормить их вместе со мной. Ее личико — изящный лимончик с ароматом еще не пришедшей весны, вспыхивало румянцем, когда мы целовались.

И сказала мне эта маленькая ведьма: «Обидишь меня, и я тебя не пожалею в важный час нашего страшного времени».

Я подумал, прижавшись боком к ее шубке на тепер уже нашей скамейке. Я сказал, философствуя: «Бог редко пробивается сияющим лучом сквозь облачность нашей зимней планеты. Но приходит к нам, грешным, когда нет надежды, и становится моментом воскрешения».

В день, когда я встретил эту маленькую блондинистую, в сердце зажженной спичкой вспыхнула надежда, до головокружения. Вдруг солнце заиграло «на клавишах разбуженной души». Я подумал: «Прихоть. Болезнь одиночества». Но снова и снова она нарисовывалась в глубине парка

с пакетиком в руках. И снова мы кормили белок и говорили чепуху.

х х х

Я долго страдал в одиночестве с тех пор как ушла жена, и энергия этой боли питала мои метафоры.

Я сказал маленькой: «Ты — мое озарение. Новая жизнь. Я наконец что-то о себе понял. Я не хочу больше метафоры боли. Я хочу творить энергией счастья».

Сверкающий луч света пронзил мое сознание. Или это был луч из ее бриллиантовых глазок?

Вокруг нас белки устроили свадебный хор. Маленькая стреляла по ним орешками. Я был освобожден от одиночества и обречен на счастье. И это — в окружении смертей от фатального корона-вируса.

Мы были выше страха. Нам до него не было дела. Она сказала мне свое имя: Светлана. Я понял — это от слова 'Свет', который был мне послан.

Каждый день я ждал в парке свою маленькую. Вот голодный Черныш мчится на меня паровозиком, вскакивает на задние лапки, а передние, как на молитве: «Дай, дай орешек».

х х х

Телевизор и радио орут о мировой катастрофе. Мы с маленькой в центре дышащей смертью вселенной. Конец расе самоубийц, накликавшей на себя самоуничтожение.

Небо пропитано ядом сожженных трупов. Наша любовь трепыхает хрупкими крылышками, как ужаснувшаяся стрекоза.

Смерть обняла нас третьим лишним. Мы лежим на моем ложе в моей мансарде, обмениваясь опасным дыханием. Подушка — камень. Безжалостная постель, не дарящая сна. И только горячие пальчики моей маленькой зовут к жизни. Но волком рычит у нее в груди от больного кашля. Это тысячеголовый Ковид19, раб Короны. Приносит в жертву человечество, запикивая его в желудок и переваривая нас миллионами.

Маленькая, нежный цветок, обнимает меня лепестками-ручками на моей мансарде. Мы живем в незаметной вечности.

«Свет!» зову я. «Свет! Пора в больницу. Ты здесь не выживешь». Она не слышит.

Конвульсивными пальцами набираю номер «неотложной». Спасительное 911 для моей маленькой.

Больницы не могут отлечить и выкинуть в Морг всех обреченных. Народ отказывается верить в конец и лезет в больничную койку, как в чудо, корчась в забитых приемных, как в прихожих ада, ожидая милости скорой смерти. В палатах бьются в агонии пораженные в легкие смертники.

х х х

В забитой ночной зале ожидания друг на друга дышат сквозь маски рвущимися на части легкими пациенты. «Пандемия!» хрипят. «Пандемия!» Очередь на много бесконечных часов.

Я с трудом пристраиваю маленькую, дрожащую последним осенним листиком, на только что освободившееся кресло. Мне места нет. Я усаживаюсь на бетонный пол у ее ног. Думаю: «Самому бы не свалиться. Кто ей тогда поможет?»

Мимо открытой двери в коридор трусливо, как бы прячась, эскортируют на каталке недавний труп в морг. Предательский вид для тех, кто еще дышит.

Маленькая моя бессознательно стонет. Я: «Господи! Если Ты есть!»

Выпустив на волю свой голубой взгляд, она спрашивает меня шепотом — как я себя чувствую? Она не знает, где находится. И неуверенно повторяет: «Я умираю?» Я ору: «Запомни, я не могу остаться один. Я умру вслед за тобой. Я только донесу тебя до этой камеры пыток — больничной палаты, и останусь здесь, все время, пока ты жива. Дальше меня не пустят». Она уже не слышит. Она сгорает в жару лихорадки.

Там, за дверьми и окнами этой камнедробилки, которая перемалывает нас пастью голодного дракона, ветер мечет гроздья снега в глаза зиме. Мы дрожим и льнем друг к другу, ища защиты. Как долго мы вот так просидели — не знаю. Я потерял ощущение времени.

Нас не взяли. В палатах нет мест. И в морге тоже. Сказали: «Вы еще не умираете». «Мы сняли

ей температуру. Ввели вакцину от Ковида. Следующая через месяц. Вы тоже обязаны привиться. Вам вместе будет не безопасно. Вот рецепты. Вот карточка на сабвей. Вам позвонят проконтролировать. Большого сделать не можем. Заберите ее домой».

Я подымаю свою кроху на руки, и мы ползем искать такси. Бог их знает что гниет у них в мозгах, этих спасателей от медицины. Я чувствую что мы обречены.

Какой-то отчаянный водитель остановил машину и спросил в открытое окошко: «Стоху дашь?» Как будто у меня есть выбор. Я положил свое дите на заднее сиденье, сам сел на пол у ее ног, и мы помчались умирать домой. Город очищен от жителей. Их смело страхом. О работе речи нет. Все закрыто. Локаут. Мы пьем лекарство. Завтра приду — уколюсь. Воняет спиртом. Мы даже забыли, что канун Рождества на носу. Я купил в аптеке карманную помпу для маленькой. Она сбавила на кашле. А еще я купил елку. И теперь она улыбается этой магии махровой ели.

В полночь мы помолились. И выпили по стакану горячего чая. Пусть Христос и Мария подарят нам выздоровление и безопасность.

Я улегся рядом и приложил ладонь к ее груди. Там билось нервно ее сердечко. Она прошептала бессильно: «Мы живы. Может быть, повезет? Дотянем до конца пандемии?» Я сказал то, чего не думал: «Может быть».

Я повернул выключатель в себе, как выключатель в комнате. Глухая пустота. Кругом зима. Зима нашей жизни. Навязчивая мысль: «Может, все-таки повезет?» Я устаю от навязчивых идей. Они меня изматывают. Сегодня я — живой мертвец. Брожу безучастно по квартирке и без всякой эмоции глазею за окно на нашу землю, завернутую в молочную пену снегов. Мой разум больше не отзывается ни на цвет, ни на звук, ни на запахи. Ни на шумы мозга. Меня нет там, где я есть.

Ничто не останавливает на себе моего внимания. Пустота разума — как вечный гул Нечта. Нет реакции. Пусть так и будет. Я даже веки смыкаю. Ибо прикосновение взгляда вызывает

ощущение. И вытаскивает меня из добровольной могилы, на которую я не имею права. Пока жива эта приبلудная овечка.

х х х

Утром, кажется, вечность прошла, я поплелся в парк, где после мощного ночного снегопада, нашествие небоскребов, как мифических атлантов, шагнуло в Ист-Ривер своими отражениями.

Я сказал, вперив глаза в зимнее солнце: «Хай, солнышко». «Хай, милый автор и компьютер-мастер. Как поживают твои метафоры?» съехидничало светило и состроило дружескую гримаску: «Спасибо тебе».

«За что?» я опешил.

«Ты умеешь жить по призванию. Таких Бог бережет. Иди домой. Все будет в порядке». Сказало и улизнуло от меня за нескромную тучку. Я остался на берегу в растерянности, считая, что мне померещилось. И тут до меня дошло: а что если и вправду? Вдруг мы в безопасности? И я помчался по лужам и гололеду, скользя, падая, намокая, но домчался.

Там она сидела в кресле и поила себя чаем, меня не сумев дожидаться. Мы расцеловались, и я допил ее чай, поскольку продрог основательно. А про опасность поцелуев во время пандемии мы позабыли. Мы поверили в шанс.

х х х

И еще мы усердно пьем прописанное лекарство. Мы забились, как мышки в норку. По ночам мы спим в обнимку и видим один сон на двоих. Какой-то голливудский кошмар. Маленькая кричит от ужаса. Я растираю ей грудку, чтобы она не кашляла и проснулась. Она плачет и извиняется.

Нас никто никуда не вызывает. Про нас забыли. Вакцину я получил у медсестер. Прививающихся обласкивают. Говорят — чем больше привитых, тем больше шанс на развитие коллективного иммунитета. И тогда толпа сбросит маски. А пока в газетах пишут об опасных последствиях вакцинации и даже смертях от нее. Число погибших снова растет. Объявлена вторая волна пандемии. Мы в растерянности. Неизвестно — что страшнее, вакцина? Или смерть без нее. Это новый карантин. Бойтесь выйти из дому. Не

забудьте одеть маску. Нас поставили на пособие по безработице. Город закрыт. Погиб наш сосед, старик грек — Тэмми. Жил один и один умер. Его нашли по запаху. Отмучился.

Зима тянется медленно. На беличьем плацдарме пусто. Белки греют лапки глубоко в кустах. Ист-Ривер прикрылась похоронной вуалью. Храбрые соседи хоронят найденный труп брошенного старика Тэмми. Он лежит на постели с открытым ртом, которым отчаянно пытался поймать последний глоток воздуха. И зарорать проклятие.

Эта вуаль над Ист-Ривер служит ей саваном. На дверях входа в наш дом висит список погибших с просьбой прийти на панихиду в похоронную часовню, неподалеку. Пандемия опять набирает мощь. Как есть. Впереди мрак. Лишь бы жива была моя малышка. Ее не раздражают мои метафоры. Я думаю: ведь это, наверно, из-за меня ее коснулось проклятие моей демонической супруги.

Не выходит у меня из головы список на дверях нашего приюта. Я не могу идти в толпу. Я боюсь принести малышке смертоносную бактерию на одежде. Я никуда от нее не пойду и, наверно, меня, как Тэмми, некому будет похоронить. Но пока я жив, я от нее не сделаю шага. Она не должна умереть в одиночку.

Нас просят подождать с повторной вакциной, только если угроза жизни. Нас ставят на очередь для таких. Я ни во что не верю. Но я смотрю на свое дите и понимаю, что это — единственная возможность. Больше они ничего не придумали, указчики наши на верхах. Газеты шушукуют, что они продают наши вакцины в другие страны. А нас держат в очередях, по списку.

Часть вторая. ВЕСНА (отрывок)

Пришел торжественный день. Ритуал открытия весны. И мы выползли на улицу — посмотреть, кто жив. Доползли, изможденные, до парка.

Весна пронзила лучиком беременную тучу: «Вот я!» К своему удивлению, я рассмеялся:

солнечный зайчик брыкнул машину. Острые листья будущих нарциссов врезались в воздух с грацией финки в бок.

Древодог-три вознесло к небу ритуальные чаши из семи пурпурных лепестков в зеленых подстаканниках. Этот сенсационный аттракцион парка цвел только неделю и потом превращался в персидский ковер под ногами тех, кого не пугало святотатство топтать его.

Вот и сакура японская пригнула к земле ветви, облитые малиновым сиропом тяжелого цветения.

«Ах, как хочется закурить», у меня вырвалось, как заветный крик души. «Ну что ты!» она ужаснулась. «Забыл, в какое время мы живем? Если это можно назвать жизнью? Шизуха наплывет. И вообще, сигарет нет. Пей водку. Она дезинфицирует».

«Ладно», говорю. «Я просто так сказал». Я увидел свое отражение в синих зеркалах ее глазок. Она излучала на меня свое обожание.

Вернулись из парка, как будто искупались в источнике живой воды после зимнего погребения.

х х х

Наше убежище, инкубатор моих сюжетов. Здесь бродят безумные мысле-формы. Здесь медленно воскрешаемся мы после первой вакцины, якобы панацеи от бед, принесенных коронавирусом. Мы боимся тех бед, которые объявятся после требуемой второй. Смерть сужает круг в своей охоте на наш город. По ночам — сирены неотложной помощи и проклятья санитаров, тянущих каталку по этажам. Власти предполагают, что вторая волна может оказаться яростнее первой. Так шушукуют газеты.

В Китай отправлена комиссия слуг здоровья и закона. Ищут первоисточник вируса. С чего началось. Почему никому и ни за что пощады. Есть идея, что разносчиками стали летучие мыши из китайской подопытной лаборатории. Есть предположения о рынке в Ухане, где продают диких зверушек в качестве еды. (Wuhan.) Есть много чего. Китайские граждане скрывают данные первых дней эпидемии. Кому охота стать козлом отпущения?

Я покрыл скорбными простынями зеркало в нашей обители, в соответствии со славянским обычаем. Когда выхода нет, я становлюсь суеверен. Только бы мне не умереть первым. Это будет предательство. Как оставить ее одну? Нет у нее никого. Так она сказала. Свалилась мне на голову каким-то таинственным образом. Посуду моет. Представитель небес из богадельни за углом. Я и сам хорош. Мне едва кивают — такой я здесь невежливый чужак. Так мне и надо. Я ведь тоже забываю их поприветствовать. Может, им обидно? Сосед — значит здоровайся.

Лети, Тэмми, лети. Замолвь там за нас словечко.

х х х

Собачка Ненни врывается к нам на диван-кровать с визгом отчаянья. Сочувствующие дали ему косточку, и теперь он не знает, как ее надежно спрятать. Он по-дикому скребет пространство между двумя подушками, надеясь создать надежное укрытие для своего бесценного клада. У собачки своя философия: «Он неплохой парень, но в наше время надо быть бдительным».

х х х

Теперь начнется борьба за пустые квартиры. Называется «уплотнение». Не более двоих, если как у меня. И начнется новое соседство. Счастливого от того, что уцелело. Объявится какая-нибудь шумная бедняцкая семья афро-американцев. Открытые двери на лестницу. Барабанный грохот тяжелого рока. Мал-мала меньше плачет на площадке или швыряет мячики в нашу дверь.

Скулы сводит — так сильно требуется сигарета. Вместо этого я получаю рюмочку.

Звонок по телефону: «Вы на очереди на вторую вакцину против ковида. Не волнуйтесь. Будьте терпеливы». У них уже нет достаточно для всего населения. Они делятся с другими странами, не покрыв своих. Идет торговля помощью. Так нашептывают неутомные журналисты. Как будто мы без них не на нервном пределе.

Мы чтим наш утренний режим. Первым делом — вылазка в парк. А там: кустарники зеленым залпом выстрелили новыми побегами.

Огорчение: сегодня в парке бесчинствует сокол. Гнида рыжая. Кровавый денди. Выслеживает наших бельчат. Новая жизнь едва теплится, а он на стреме. Окажись я сейчас один на один с тайгой, как когда-то в бредовой юности, я б тебя снял одним выстрелом из двустволки. На чучело. Прямо в твою бесподобную манишку.

х х х

Теперь мы устроились на нашей диван-кровати, и я сказал маленькой — бледной, как снег тающего парка: «Дай мне поцеловать тебя. Что тебя точит? Я хочу заразиться твоим нездоровьем. Поцелуй меня. Отдай мне болезнь. Я хочу умереть вместе. Мне не суждено любви. Я проклят за то, что загубил женщину».

«О нет». Она приоткрыла хрустальные глаза. «Ковид отступает. Ты спас меня. Ты победил. Но болезнь возвращается, даже если уходит, так они говорят. Нам придется перенести и следующую вакцину, если нам достанется. По телевизору дипломатично предупреждают относительно коварной второй волны».

Слушая мою маленькую ведьму, я поддавался ее страхам. Она страдала из-за меня. Проклятье предназначалось мне, не ей. По ночам меня навещала жена. Она смеялась надо мной: «Ты никого не любишь. Ты не отдаешь миру ничего, кроме своих метафор. Ты не наш человек. С тобой никто не будет счастлив. Отщепенцев никто не любит».

Маленькая, учуя врага, приоткрыла веки.

«Свет мой, свет мой, Светлана», позвал я, себе не веря, пробиваясь к ней через не растопленный экран бессилия перед проклятием мощной волшебницы.

«Что это?» спросила моя малая. «Ты дрожишь. Опять она?»

«Но ты не должна об этом знать», сказал я, чуть заикаясь.

Мы прижались друг к другу, защищаясь за единым экраном нашей надежды.

х х х

В весеннем парке менялась власть цветов и растений. Династии сменяли одна другую. Как из подземных неких ваз выползали букеты атласных нарциссов. Отяжелевший цвет японской

вишни обнаженным мозгом полз к земле, укрывая невидимые ветви. Последние слезки дог-трис посыпали сверху оранжевую топку внутренностей императорских тюльпанов.

Вторая волна пандемии расплзлась по миру разновидностями ковида. От них не спасали приспособившиеся к сражению вакцины. Нужны были новые. Когда-то на изобретение вакцин уходили годы. Теперь не было времени. Первым объявился британский штамм, и пошло и пошло. Индийский, где печи крематориев плавилась от перегрузки сжигаемыми трупами, южно-африканский и дальше вокруг света. Все этой информацией мы с малышкой питались, лежа на диване после парка. Как все, мы надеялись, что пронесет.

х х х

Но однажды я проснулся среди ночи и пришел в ужас от того, что услышал и увидел, включив свет.

Маленькая снова корчилась от удушья.

Я бросился к телефону. Начал ее одевать. Сирена взывала за окном. Нас везли в больницу. Разбегались нарушители-пешеходы, как вспугнутые привидения. Маленькая не открывала глаза. Я поддерживал ее кислородную маску. Все тот же госпиталь. Меня отстранили и услали в зал ожидания, уехав с ней в приемный покой.

От меня отобрали маленькую. Через пару часов сообщили, что увезли в спец-палату. Я озаирялся идеей биться головой о стену от бессилия помочь. Но меня осадил охранник. «Хочешь в палату для психов? Устрою». Я сник.

Еще через пару часов сообщили: кашель стихает, надо ждать. Я решил не уходить из зала ожидания. Ведь могут сообщить еще что-нибудь обнадеживающее. Я устроился в кресле, готовый ждать, одно из многочисленных семечек в этом огромном огурце ожидающих.

Вышел отдышаться санитар в сером жеваном халате и обмягшей от пота шапочке. Сам ангел преисподней.

Я подошел к нему, пустой, без надежды. Спросил тихо: «Сколько ты хочешь найти и отвести меня к ней?» Я дал ему огрызок бумажки с именем.

Он вытаращил глаза и икнул в страхе: «Ты, парень, сошел с ума. Оттуда нет выхода».

Я сказал, убеждая тихо: «Значит, нас увезут оттуда вдвоем». И сунул ему в карман халата последнюю стоху.

Он чуть не заплакал от страха напололам с алчностью. «Ну, ты даешь», пробормотал. «Жди здесь. Я должен узнать, где она».

Он исчез за дверью в коридор — эту дорогу смерти. Я думал — он никогда не вернется. Даже не знаю, сколько времени я ждал, прижавшись к стенке в углу в надежде не привлечь внимания.

Но он явился, честный вестник загробного царства, дрожа от возбуждения, с халатом и больной маской для меня за пазухой.

Я оделся в туалете, и он пробормотал, что я еле услышал: «Иди за мной».

Мы поднялись на лифте на девятый этаж. Я сказал про себя: «Данте. Девятый круг ада». Я слышал стоны, а иногда крики. Персонал на нас пока не реагировал. Парень указал мне на дверь палаты и бросился на подгибающихся коленках обратно к лифту. Я вошел в палату.

Я сразу увидел маленькую в комнате на четверых. Никому не было до меня дела. Они там были заняты процессом умирания. Постанывая и повизгивая. С кислородными аппаратами.

Я сел на какую-то табуретку у кровати и послал месседж прямо в ее закрытые глаза: «Ты не умрешь. Мы сильны любовью. Я отдаю тебе все, что спасло меня. Делюсь с тобой. Свою защиту, свой иммунитет, всеми чудо-клетками. Всем, что понадобится тебе, чтобы воскреснуть. Бери, потому что мы — одно целое. Бери как чудо. Ты бессмертна. Теперь у нас жизнь — одна на двоих...»

Я не сознавал, что еще из меня вылетало. Я продолжал говорить. Китайская стена могла бы рухнуть под моим напором. Не помню.

Только из-под запавших век смертницы у моей маленькой появился слабый лучик, затеплился и заголубел. В ее агонии был вид на жизнь. Корона ослабила свою хватку.

Меня выгнали со страшным скандалом. Хотели вызвать секьюрити. А я кричал им: «Она жива!

Она жива! Делайте со мной, что хотите. Любую вакцину. Лишь бы она была жива».

Меня выпихнули на лестницу и втолкнули в лифт. Я отказался покидать залу ожидания. Я решил пересидеть смерть. На меня махнули рукой. Я сидел у двери в коридор, считая провезенные мимо неупакованные трупы. Маленькой среди них не было. Я чуял, как она сообщала мне свое биение сердца. Подталкивала мой маятник. Мы жили одной жизнью. Мы не делили ее между собой. Одно целое, об этом я ее умолял, чтобы она поверила.

Любовь свернулась клубочком отогреть нас обоих от близкой гибели.

В справочной, которую я бомбардировал каждые полчаса своим вопросом: «Ну как?», наконец ответили: «Кризис миновал. Ее перевели в другое отделение, но гарантии нет. И пожалуйста, идите домой, отдохните. Вам позвонят».

У меня закружилась голова. Физические силы меня подвели. Истощенный духом, я дошагал до дому и свалился на наше ложе. Сначала пошли звезды перед закрытыми глазами, а потом наступило забытье. Каждую минуту я все еще ждал, что позвонят из госпиталя. И наконец утонул в беспомощности. Невесомости. Физическом несуществовании. Я был исключен из мира живых и мира ее страдания.

Часть третья последняя. ЛЕТО

Вернулся к жизни после полудня. Телефон молчал. Хотел его разбить, но осознал, что я просто помешался на идее смерти. От страха. Я примерял ее на себя. Я хотел пройти через то же, что шла маленькая.

Я ходил по дому и мял в руках ее вещи. Одежду, книжки, дневнички. Тер их о себя, расстегнув ворот и грудь. Я вылизал еще не мытые тарелки, пил воду из ее чашки. Царапал, обнажая руки, кожу до крови невымытыми вилками и размазывал кровь по всей руке, втирая в тело.

В таком диком виде я ушел в парк, прикрывая опухшую морду маской.

Здесь я понял, что пришло оглушительное по краскам лето.

Зазеленевшие кусты гроздились вдоль газонов с решетками. Пропоролы непроходимость лохматой травы тюльпаны всех цветов радуги. Ласково колыхалась вода Ист-Ривер, облизывая каменные быки мостов. Сытые летние белки лениво позволяли подманивать себя орешками из протянутых рук гуляющих.

На влажной лысине прохожего веселились солнечные зайчики.

Я прилепился к решетке набережной Ист-Ривер. Вот из-под моста Вильямсбург выползает морда катера с глазами-фарами на носу.

Я почувствовал себя внезапно плохо. Как будто внутри поселился злобный зверь и рвал флеш острейшими лапами. Дракон из сказки? Яростный черный заговор моей бывшей супруги, пообещавшей мне расплату за ее во мне разочарование. Или легендарное чудовище ковид-19 взялось, наконец, и за меня?

«Не тут-то было», разозлился я. О себе я знал, что был слит из железа и стали и перевит цветом сирени.

х х х

В парке правило лето. Жара душила меня. Даже аромат нового поколения роз был удушлив. И эта розовая революция захватила власть над воздухом, так, я решил, чтобы я, грешник, задохнулся, как малое дите. Огромные зеленые кусты были посыпаны розами, как специями. Ни одной скамейки поблизости. Я поплелся к воде. Испуганные белки прыскали от меня в сторону. Я забыл про орехи, и они не понимали смысл моего присутствия. Но инстинктом угадывали, что меня надо бояться. Я был жив, но нес смерть. Надо было вернуться домой и свалиться в постель, пока меня не затащило в болото черных ощущений. Добраться, добраться до дома, где можно зафиксировать собственное страдание в парочке свежих метафор.

Я героически ковылял по парку на бастующих суставах, задыхаясь в своей защитной маске. Но я вынес эту пытку и сразу бросился к телефону, чтобы услышать то же самое: «Ждите. Мы

позвоним». Только тогда я позволил себе свалиться на диван-кровать и ни на что не реагировать.

Ночью пришла лихорадка. Судя по всему, я получил то, что хотел. Ковид, сын этой холеры короны, меня-таки достал.

х х х

Скорую пришлось ждать долго. Город был переполнен умирающими. Меня забрали без лишних слов. Я чихал, кашлял, корчился в судорогах. Я получал в полной мере, но орал, чтобы меня отвезли в тот же госпиталь, что и маленькую. Выла сирена, прорываясь сквозь красный свет, шарахались ночные привидения в белых масках.

Меня погрузили на больничную лежанку в приемном покое. Я боялся потерять сознание. Я должен был оказаться поблизости от маленькой в любой реанимации. Но мне сказали, что положат меня туда, где есть освободившаяся койка. Наверно, кто-то собирался умереть. В отчаянии я отключился. Как прошла ночь — не знаю. Проснулся я, как выяснилось, на девятом этаже. В том самом «девятом круге».

Что-то они со мной делали. Кажется, измеряли давление, проверяли температуру... Я с трудом дышал. Принесли кислород, взяли кровь на анализ, не помню. Мне казалось, что все это происходит где-то в кино, а я тут. И неподалеку лежит и мается моя маленькая.

Утренний обход.

Я попросил сестру во всем белом, не хватало только крылышек, передать, если найдет, маленькой, что я здесь, и бояться не надо. Сестра улыбнулась фарфоровыми зубками и кивнула головкой. Согласилась. Дальше я опять отключился. Либо я спал, либо мне это казалось. Стонали соседи по койкам. Кого-то увезли и не привезли обратно. Я сообразил, что на дворе утро, и начался врачебный обход. Доктор впечатлял своей величавостью в этом жалком месте, где уже не было вчерашних пациентов. Я встретил его кашлем и хрипением. Мне было трудно говорить.

Доктор спросил, сколько вакцин мне ввели и, узнав, что одну, приосанился, как заслуженный

учитель в малышом классе, потребовав от меня дать согласие на вторую. Я решил поторговаться на случай, если фарфоровая медсестричка, эта Барби-долл, утешение для приюта обреченных, меня подведет. Я попросил доктора, когда он будет в палате у маленькой, передать ей привет и сказать, что со мной все в порядке и мы скоро встретимся.

На это у меня ушла последняя энергия, и я закашлялся с судорогами и кровью на губах.

Доктор тоскливо посмотрел на дверь палаты. Я отвернулся к стене, чтобы дать ему ретироваться с достоинством. Последним актом мужества от него было продиктовать студентам необходимое лекарство с дозировкой для меня.

Я, изможденный этим маленьким цирком, уткнулся в подушку, не давая себе поощрять кашель. И снова я ушел куда-то в ничто.

А вечером мне дали мои лекарства и ввели вакцину под названием «Модерна» — второй и последний заход. Специально вечером, чтобы я спал. Так они мне сказали.

Фарфоровая медсестричка, крохотный эльф, сияя зубками, передала привет от моей маленькой. Значит, жива. И ей тоже сделали вторую вакцину. Жива! И выпить нечего, кроме лекарства. Я хотел выразить этот свой восторг словами, достойными таинственного воскрешения нас обоих, но закашлялся и задохнулся. И сунул в рот помпу, как соску беспомощному ребенку.

Я закрыл глаза и увидел зеленое поле, расписанное кровавыми тюльпанами (Матисс пришел на помощь?)

Кашель урчал где-то в желудке. Готовый вот-вот вырваться наружу и покрошить мои измученные легкие. Я схватился за подушку и старался дышать мелко.

х х х

Ночью стало хуже. Ночью я бредил: по нашему парку носились встревоженные белки. Хоп-хоп, как круглые мячики, а может быть, блохи.

На ветру нарциссы переглядывались друг с другом и отвечивали поклоны нам с маленькой и всему, что вырвалось в живой мир из клещей Ковида-19.

Маленькая лепетала радостно: «Я хочу петь на верхней ноте колоратурного сопрано!»

Я понял, что она жива, и открыл глаза. Стоны и смрад не пугали меня. Я прошептал: «Мы скоро увидимся». И еще я сказал: «Я оставлю тебе мою лучшую метафору, если помру. Это все что я могу».

И она засмеялась: «Да мы просто ничтожества, если мы жили и ничего не сотворили».

Мне удалось уснуть успокоенным.

х х х

Жара. Нас выпустили из госпиталя, как мы просили, — в один день.

Собачка Ненни, все это время гостившая в питомнике, с ума сходила от восторга. Чуть не протаранила мне грудную клетку своими передними лапами. Супер принес ключи.

Я приоткрыл дверь, и вдруг мне стало жутко. Чудовище Ковид раскрыл объятия. И я отшатнулся.

Все это время он был здесь хозяином. Даже окна были закрыты и задрапированы. Капсула ужаса. Здесь, загерметизированная, созрела сила проклятия.

Завыла собачка Ненни и попятилась, и прижалась к моему колену, дрожа всем телом и поджав хвост и уши.

Маленькая, еще не понимая происходящего, вдруг заплакала и потянула меня за рукав, назад к лифту. Что-то поведало ей, ее интуиции, об опасности.

Лифт не был востребован кем-нибудь с нижних этажей, и мы успели войти в него и спуститься в вестибюль, оставив дверь квартиры незамкнутой.

Кому могли бы мы поведать, что дух, терроризирующий планету, на сегодня оставил нас — такую незначительную добычу — бездомными. Впрочем, мы были помечены проклятием.

х х х

Супер вытаращил глаза на наше молниеносное возвращение: «Вы что-нибудь потеряли?»

«Бежим!» заорал я. Пес бросился за нами. Я знал только одно место в мире, созданное как убежище для душевно отверженных, — наш

парк. Здесь мы мчались в глубь, в сердце того, что свято.

Распустившиеся до предела розы, попав в это пекло, обожгли и свернули нежные лепестки и поникли головками.

Сиеста. Сытые белки дремлют в кустарниках. Нарисованный всеми оттенками зеленого городской лес из моего сна. На другой стороне реки небоскребы ведут беседы с облаками. Мы с маленькой одновременно шлепаемся на нашу скамейку. Мы научились молчать после надрывных криков и хрипа в госпитале. У нас обоих осипшие голоса. И мы оценили молчание.

Где-то там, в конце пустой аллеи — путь стрелы исцеления — медленно движется знакомая фигура нашей мучительницы и ненавистницы.

Она вдруг замирает и машет нам рукой.

Не стовариваясь, мы машем ей в ответ: «Иди с миром».

Мы свободны.

Конец рукописи.

июнь 2021

Faina Koss. Was born in Ural Mountains, 1942. From 1946 lived in Leningrad. Graduated from the Leningrad State University. Philologist. Started to write short-stories being a student. Participated in non-conformists movement. From 1980 lives with the daughter in New York. Author of three novels. Published several books. Also published short-stories in Russian-American magazines and newspapers.

Татьяна Шереметева

СЕКРЕТ

Фрау Альтман была некрасива и уже немолода. И тем не менее считалось, что ее мужу повезло и что жена его на редкость привлекательна.

На самом деле, только она знала, чего стоила ей борьба с изначально более сильным противником, ибо остановить время и закон гравитации, как назвала это Джейн Фонда, было невозможно.

Утро начиналось не с рассвета, как раз спать фрау Альтман разрешала себе подольше: сколько спит. Поэтому завтракала она не раньше одиннадцати. Но до завтрака нужно было много чего сделать.

В общем, болело все: ноги, руки, спина. И еще шея. Это означало, что приступать к гимнастике нужно было осторожно, пока не разгонишься и не почувствуешь, что тело, хотя и со скрипом, но все же готово слушаться.

За гимнастикой следовали водные процедуры, разные кремы-тоники и прочая, по выражению фрау Альтман, фигня. Хотя на самом деле мысленно она употребляла совсем другое слово. И да, обязательно волосы. Им ведь требуется ежедневное питание. На завершающем этапе — немного утренней косметики: глаза и брови. Губы — только увлажнение, не стоит перегружать их цветными помадами.

Ноги и руки — это объекты стратегического назначения. И пусть Хайди Клум утверждает, что ей достаточно делать педикюр раз в две недели, сама фрау Альтман делала его еженедельно. Цвета менялись с разбросом оттенков от прозрачно-розового через бежевый до малинового. А пятки у нее всегда были нежные, как у девочки: вся дрянь с них безжалостно соскабливалась электрическими скребками. Стоило ли говорить о том, что кожа на икрах и выше колен была

гладкой, покрытая легким оттеночным лосьоном цвета морского загара. На солярий с его сомнительными преимуществами был давно наложен мораторий.

На ночь нужно надевать духи, так говорила Мэрилин Монро, и кто бы спорил. А выходя из дома необходимо помнить, что лучше появиться голой, чем ненадушенной. Кажется, Кокко Шанель...

Чем старше становишься, тем больше времени должно уделять своей внешности: и это уже не кажется, а точно мнение самой фрау Альтман.

То, что дает Бог при рождении, изменить, конечно, можно, но увлекаться этим не следует. Потому что главное — не физическая красота. И совсем не то, о чем вы подумали. Главное — не красота, а ухоженность и элегантность. И еще кое-что, о чем фрау Альтман предпочитала молчать.

Конечно, иногда хотелось накатить. Вернее, утром сожрать яичницу с колбасой, а на обед — макароны с сыром, а потом подсолнечную халву страшного темно-серого цвета. И проходить по дому весь день в ночной рубашке, и к зеркалу, вообще, не приближаться. А вот вечером — накатить. Виски, а еще лучше водка — честный мужской напиток. И слушать «Ой, да не вечер, да не вечер, ой, мне малым-мало спалось»... И там, где «пропадет, он говорит, твоя буйна голова», разреветься. Или еще: «На муромской дорожке стояли три сосны, прощался со мной милый до будущей весны»... Слушать, и плакать, и по-бабы сморкаться.

Да, бывало. Но строго в отсутствие мужа, когда в ее распоряжении было два-три дня холостяцкой жизни. А потом опять овес на завтрак, черт его задери, и вся эта тягомотина с кремами-лосьонами,

пока есть силы. Потому как дальше будет только хуже. Дальше — тишина.

Господи, ты же видишь, она старается. И старалась всю жизнь, сколько помнит себя. Сначала в кровати, закрыв глаза и зажав под одеялом уши, представляя себя взрослой, потом — перед маленьким настольным зеркалом, которое она ставила на пол, чтобы видеть ноги. Большое зеркало в доме отсутствовало за ненадобностью.

В отрочестве, заметив, как наливаются некоторые части тела, она решила отказаться от еды. Когда начались обмороки, поняла, что есть надо, но не то, что ели дома или в школьной столовке. В журнале «Здоровье» прочитала про злаки. Выбрала из них то, что дома водилось всегда: гречку, овсянку и пшено. Перестала есть хлеб, масло, то, что называлось «мясные продукты», хотя мяса там не водилось, даже любимую простоквашу исключила из очень короткого списка разрешенных продуктов, после чего стали выпадать волосы и ломаться ногти, нарушился обмен веществ и обвалился иммунитет. Начались больницы и врачи, сил не оставалось ни на что, но она решила, что на учебе это отразиться не должно. Потому что эта чертова учеба — как духи, потому что лучше голой на людях, чем без образования. Потому как — обязательный элемент женского образа. Подделки легко обнаруживаются и жестко караются.

В те годы ее утро начиналось с пробежки, вечер — с зубрежки. И то, и другое вызывало отвращение. Больше всего она ненавидела ранние вставания с омерзительно теплым от прикосновения соседских тел сиденьем унитаза и запахом окурков, валяющихся вокруг. С соседями по квартире ее семье не повезло. Убедить дядю Гену не лить мимо толчка и не бросать на пол бычки не удавалось никому. Дядя Гена утверждал, что он ветеран труда, и товарищеский суд, что заседал раз в месяц в Красном уголке, его оправдает.

Собственно, тогда она и дала себе слово, что никогда не будет курить. Потому что старые окурки омерзительно воняют и потому что занятие

это наносит непоправимый вред красоте. Которой у нее не было.

И тогда же в первый раз она призналась себе, что хочет жить не так и не здесь. Было стыдно, и она даже представляла, как в школе ее тут же назвали бы предательницей. Но это — если бы кто-то узнал, что она там про себя думает. Но никто об этом даже не догадывался. Тина была старательной ученицей и даже занималась общественной работой, хотя в классе ее не любили.

Близиких подруг у нее так и не появилось.

Единственная девочка, которая ее интересовала, была моложе ее на три года, что в детстве ощущается как непреодолимая преграда. Но Тину это не останавливало, потому что дружила она с Линой из-за ее матери.

А началось все с того, что однажды первоклассница Валька, сидя под деревом и роя щепкой ямку для «секретика», в которую она собиралась уложить фольгу, две сухие ягоды шиповника и несколько блестящих пуговиц, увидела, как из соседнего подъезда вышла незнакомая семья — родители с девочкой. Дом был старый, двор — маленький, все жильцы знали друг друга, и некоторые даже здоровались при встрече.

Ей показалось, что эти трое вышли не из подъезда, а спустились с прозрачного облака, которое плавно спланировало к земле рядом с ней. Просто этого, кроме нее, никто не заметил.

Папа был высоким, худым, в клетчатом пиджаке и рыжих полуботинках. Девочка была в розовом платье и черных лакированных туфельках с большими бархатными бантами. Волосы ее были распущены и уложены в локоны.

Мать девочки посмотрела на ямку, улыбнулась и сказала Вальке, что когда-то и она делала такие же «секретики», только это было давно.

Через пять минут они вышли на улицу через высокую арку, но Валька склонялась к версии, что они опять улетели на облаке. Когда видение исчезло, она еще долго продолжала сидеть в той же позе на корточках, потом очнулась, достала из портфеля тетрадь по чистописанию, выдрала из нее страницу и что-то нацарапала на ней корявыми печатными буквами. Потом выбросила

из ямки пуговицы и прочий хлам и вместо него положила на дно свернутый листок бумаги, подышала на осколок стекла, вытерла его о школьный фартук и закрыла им ямку. После этого присыпала все землей и даже положила несколько сухих веточек для маскировки.

Прошло несколько лет, прежде чем те, на облаке, снова показались в ее дворе. Девочка стала заметно старше, а ее родители почти не изменились. Валька сразу всех узнала и быстро разведала, что они переехали в квартиру, где раньше жила их старая бабушка по прозвищу «Пиковая дама».

Теперь можно было видеть этих людей хоть каждый день, и никакое облако их больше не унесло бы. Это была хорошая новость. Плохая состояла в том, что ни девочка, ни ее мама с папой Вальку не помнили. Поэтому приходилось подкарауливать их у подъезда, мозолить им глаза и набиваться на знакомство.

Она уже знала, что маму девочки звали Александрия, папу — Аскольд, саму девочку звали Ангелина, или Лина. Этого было слишком много.

Вскоре Валька объявила *orbis et urbis*, что ее зовут не Валентина, а Тина. И что на другие варианты своего имени она не откликается.

Теперь самым главным местом в их коммунальной квартире стала для нее ванная комната. Соседи ругались и стучали в вечно запертую дверь, но только там она могла по-настоящему рассмотреть себя. Все выглядело совершенно не так, как нужно. Оказывается, она родилась уродом, просто раньше об этом не догадывалась.

Сначала Валька решила, что все дело в том розовом платье и лакированных туфельках, которых у нее отродясь не было. Ну, и в локонах. Потом, представив себя в них, поняла, что дело в другом.

Вскоре она утвердилась в подозрении, что была не просто некрасива, а была, что самое неприятное, беспородна: неказистая, как тамбовская картофелина, с широким лицом и круглыми глазками. И, вообще, вероятно, природа ее задумала не для красоты, а для чего-то другого. Может, для

учебы в каком-нибудь институте со скучным названием или сразу для работы — так, чтобы сначала в передовиках, а потом в президиуме. Она не хотела в передовики и тем более — в президиум, где, как ни включишь телевизор, вечно торчала знаменитая тетка из космонавтов, страшная, как старшая пионервожатая в ее школе.

И, вообще, у девочки Вали, видите ли, рано сформировалось отвращение не только к ранним вставаниям, но также и к поездкам на общественном транспорте: утром, — с выражением обреченности на помятом лице, — на работу и вечером, — с посиневшей курицей в авоське и выражением счастья на том же лице, — обратно.

Родители все время радовались: то тушенке, то сгущенке, то сарделькам, которые «выбрасывали» в продуктовом напротив. Так жили и соседи, и все вокруг. Поводов для радости было много. Но Валька не хотела жить и радоваться как все, она хотела жить и радоваться как Александрия Александровна.

И вот что било по голове сильнее любой чугунной балки — так это аромат, который всегда обволакивал Александрию. Он был почти неуловимым, и он сводил с ума, по наблюдениям Вальки, не одну ее. Женщины вокруг, если и пользовались по праздникам духами, делали это по-другому, щедро выливая их из пузырька на ладони и хлопая ими под лохматыми подмышками.

А мать ее, вообще, говорила, что от молодой девушки должно пахнуть мылом. Лучше всего Земляничным, двенадцать копеек за кусок. Тогда всем будет ясно, что она следит за собой.

Вальке казалось, что Александрия источает аромат самостоятельно, а флакончики с духами и маленькие пузырьки с лаком для ногтей стоят у нее под зеркалом для красоты. Валька уже знала, что любимый цвет Александрии для рук — нежно-розовый, а для прозрачных ноготков на ее ножках — бордовый.

В школе предупреждали, что красят ногти на ногах одни проститутки. И что порядочная советская девушка никогда себе этого не позволит.

Валька шепотом проклинала все обстоятельства своей жизни, приведшие к безрадостной

перспективе называться «порядочной советской девушкой», хотя до девушки ей было еще далеко. Впереди была уйма времени, за которое она должна было научиться многому.

А для этого нужно было дружить с Линой и бывать в их доме как можно чаще. И нужно быть интересной ей и, главное, ее маме. Мама Лины была знатоком французской живописи и даже когда-то собиралась защищаться по истории раннего импрессионизма. Выбора практически не оставалось: Валька стала завсегдаем ГМИИ. В воскресные дни она торчала в отведенных под картины импрессионистов залах и пыталась отыскать в библиотеках все, что можно было о них прочесть. В конце концов, она неплохо стала ориентироваться в именах художников и названиях картин и могла даже поддерживать разговор на эту тему.

Александрия радовалась и ставила Вальку в пример своей дочери. Лина через силу улыбалась и уводила подругу в свою комнату. Там она показывала ей слайды, сделанные в Алжире, где они прожили пять лет. Импрессионисты ей были неинтересны, и однажды она призналась Вальке, что от всех этих чокнутых художников ее тошнит, и попросила с ней на эти темы не разговаривать.

Лина уже не была похожа на маленькую принцессу, в ее комнате было много французских детективов, а сама она хотела стать следователем. Она не бегала по утрам, не морила себя голодом, не старалась красиво сидеть, стоять и ходить, не красила тайком ногти, не получала за это по шее от матери.

И училась Лина во французской спецшколе, что рядом с домом, где был свой школьный театр на французском языке и музыкальная группа «Шербурские зонтики».

Валька ходила в обычную школу, где были совсем другие ученики, другие учителя и много второгодников, которых «сливали» им со всего района. Когда как-то она спросила мать, почему ее не отдали «к французам», то услышала, что у нее и так голова мусором забита и нужно меньше перед зеркалом торчать. И что

люди живут без французского языка и ничего, не умирают.

Иногда Валентина жалела, что в тот далекий день решила копать ямку для своего «секретика». Не сидела бы она тогда под деревом — не увидела бы их, кто приплыл на облаке. И не увидела бы она тогда, сидя на корточках и задрав в оцепенении голову, густую челку из-под шляпы, юбку колокольчиком и сумочку из черной соломки с золотым замочком; не услышала бы, как ласково с ней говорят, не почувствовала бы волнение, вдыхая незнакомый неуловимый запах, а вернее, аромат; не заметила бы, как крепко держит под локоть свою жену высокий, сухопарый мужчина в рыжих полуботинках, которые оставили глубокий след совсем недалеко от ее драгоценной ямки.

И не было бы тогда в ее жизни ни голодных обмороков, ни сломанных ногтей, ни овсянки, ни бессильных слез по ночам.

Аскольд Андреевич не любил Вальку, и ему не нравилась дружба дочери с этой «people girl». Когда она, по его неосторожности, услышала это выражение, то сначала обрадовалась, потому что «народное» — означало хорошее, например, Народный артист СССР. Так и радовалась, пока не узнала правду. Но было уже поздно.

К этому времени она уже училась изо всех сил, ненавидя все, что могло угрожать ей поступлением в педучилище, как хотели ее родители, и мечтая об отделении искусствоведения на истфаке МГУ. Поступить туда без блага было невозможно. Отделение крошечное, она уже узнавала. Дело было безнадежное, но думать об этом она себе не разрешала.

Валька по-прежнему почти ничего не ела, от одного слова «гречка» ее тошнило так же, как от самого голода. В старших классах она немного подросла, и то ли от этого, то ли от постоянного недоедания щеки у нее стали поменьше, а глаза — побольше. Но это было не о красоте. Красоты не было вовсе.

Она не поступила в первый раз, не поступила и во второй и готовилась поступать в третий

как производственница. Снова и снова училась на подготовительных курсах, где преподаватели уже знали ее в лицо, и работала «кто куда пошлет» в курьерской службе Пушкинского музея. Спасибо историку с курсов, который устроил на работу эту, по его словам, упертую девицу.

С Натаном она познакомилась на работе. Он приехал в Москву собирать материал по Северному Возрождению. «Как будто до него об этом мало было написано», — думала Валька, рассматривая его длинную фигуру в клетчатом пиджаке и тяжелых ботинках коньячного цвета.

Кого-то он ей напоминал. Дело портила неправильная борода, ему пошла бы совсем другая, и, если бы Вальке было до нее дело, уж она как-нибудь с этой бедой справилась.

Через месяц они ходили на лекции по искусству и на выставки в Дом художников или же гуляли по Бульварному кольцу. В Мюнхен Натан возвращался с новенькой женой. Она была некрасива, но мила и очень ухожена. И так хорошо его понимала...

Сегодняшний день у фрау Альтман не задался с утра. Ночью, после перелета, она так и не смогла заснуть, под утро ушла на открытую террасу, лежала там в шезлонге и вспоминала свою поездку в Москву.

Летать туда приходилось почти каждый год, и настроение у нее обычно портилось уже при заходе самолета на посадку, когда в иллюминатор становилась видна одна и та же картина: замордованная, искореженная земля, жилые дома, не имеющие права на существование, чахлая трава, грязь и мрачный пейзаж.

Из самолета «Люфтганзы» она всегда выходила через силу. Хотелось остаться там, забиться в дальний угол и, незамеченной, улететь обратно.

В аэропорту тоже все оставалось без перемен, даже запахи из открытых дверей туалета. На паспортном и таможенном контроле фрау Альтман всегда начинала нервничать, хотя поводов для этого не было никаких. Главное — не встречаться

с ними взглядом, так учили ее знающие люди. С кем «с ними» — было понятно.

Много лет назад, улетаая в Германию, Тина пообещала себе, что на родину будет приезжать только при крайней необходимости. Она останавливалась в гостиницах в самом центре Москвы, хотя считала, что для них это слишком дорого. Но у мужа всегда был наготове его любимый ответ: «Я хочу, чтобы у тебя было все самое лучшее. Особенно там».

Обычно она начинала собирать вещи за три дня до возвращения домой, и этот ритуал сборов успокаивал ее и как будто приближал день, когда она, согласно приглашению на плохом немецком языке, пройдет на посадку в самолет, крепко держа в руке паспорт гражданки ФРГ.

В этот раз, накануне своего отлета в Мюнхен, уже на выходе из Пушкинского музея, она задержалась у книжного киоска. Купила большой альбом по Русскому модерну и пошла к дверям, когда рядом кто-то неуверенно ее окликнул: «Валя?»

Натан уже разобрался с медицинскими счетами, оплатил страховку за машину жены и, прикрыв глаза и вытянув длинные ноги, сидел в кресле. Он знал, что скоро раздастся стук в дверь и он услышит: «Наташа, я тебе не помешаю?» Это было забавно, она же знала, что не помешает, и она знала, что он знает, что она знает. Короче, вопрос этот был ритуальным, ежеутренним и очень трогательным. А к ласковому имени «Наташа», которое было похоже на русское женское имя, он давно привык.

Она, как обычно, постучала, вошла и уселась на свое место на диванчике, держа в руках большую чашку с кипятком, поскольку ничего другого по утрам не пила. Еще в пижаме и халате, еще без косметики. Да, внешне простоватая, но он знал, что это только для него, как знак особого доверия. Через час все изменится. Хотя сегодня она выглядела совсем неважно. Видно, недавно плакала. Нужно заканчивать с этими поездками, больше он туда ее не отпустит.

Они вместе сорок с лишним лет. Из женщин, с которыми он изменял ей, можно, как писал нобелиат Бродский, составить город. И все равно, она самая лучшая. Сейчас, когда он почти отошел от дел, ему приятно размышлять об этом под бокал вина вечером или же под неспешный утренний кофе. Уже не нужно никуда торопиться, за собой он оставил два присутственных дня в университете, которые больше радуют, чем утомляют. Жена — умница, владелица риэлторского агентства, почти все, что у них есть, заработано ей.

До сих пор в бизнесе, говорит, что отдохнуть еще успеет. Видно, не отпускают ее деньги...

Они все сделали правильно, у них есть достаток и признание. С детьми только вот не получилось — были проблемы со здоровьем у Тины: серьезный сбой в репродуктивной системе, еще с молодости... Но у него есть сын от первого брака, внук, и это большое утешение.

Очень скоро после их приезда в Германию стало понятно, что молодой фрау Альтман нужно систематическое образование и еще много чего, что отличает женщину европейскую от женщины советской. Она была готова и, что самое ценное, она внимательно слушала его советы. Представить такое с первой женой ему было сложно.

Натан не любил ее страну, не любил ее соотечественников, хотя это могли быть и его страна, и его соотечественники. Спасибо еврейскому Богу, который отнес его от такого счастья.

Он любил Северное возрождение и коллекцию картин в ГМИИ. И никогда не мог представить, что его женой станет русская. Он разругался из-за этого со своей матушкой, вкладывая деньги в образование и тайно — в воспитание жены, вызывая удивление и друзей, и родственников.

Тина оказалась способной ученицей, преуспев не только в академических науках, но и в отношениях с мужем. Вперед не лезла, командовать не пыталась, страдала молча, прощала, что было в ее положении вполне объяснимо, не попрекала, что было удивительно. Как же там этих русских

дурочек напугала их собственная родина, что они готовы были идти по жизни с «широко закрытыми глазами»? Лучше не скажешь.

Но она действительно хорошая жена. И как приятно слышать от друзей и коллег, даже от незнакомых людей почтительные комплименты, которые воздавали должное ее внешности. А правду знал один он. Она была некрасива, но очень ухожена. И еще любила шляпы, туфли на шпильках и элегантные строгие костюмы. И маленькие сумочки.

Да, безусловно, это сильно выделяло ее на фоне остальных. Когда-то ему казалось, что это врожденное чувство стиля, но видя, как Тина при этих словах обычно только усмехалась, давно уже решил эту тему больше не обсуждать. Рано или поздно она сама все расскажет.

— Тебя окликнули... и?

— Окликнули: «Валя!» Меня же так звали только в детстве. Ну что тебе сказать... Старушка, неважно одетая, двух зубов сверху не хватает... Мы обе растерялись... Помнишь, я тебе рассказывала про моих соседей по двору, про принцессу с локонами? Про ее мать?

— Так это была мать?

— Нет, это была принцесса.

«Да, налицо непроработанная детская травма. Вот тебе и чувство стиля...»

Теперь, когда она, наконец, все рассказала, ему хотелось молитвенно сложить руки, как делала его матушка, и сказать: «Господи, какое счастье, что я ее оттуда увез!»

— Ну хорошо, а что за секретик ты там закопала? Какое-то пожелание?

— Нет. Это была угроза.

— Признавайся, какая.

— Я написала: «Я вам фсем пакажу!»

Татьяна Шереметева. Из Москвы, окончила филологический факультет МГУ. Живет в США, в Нью-Йорке. Более пятисот публикаций в литературных журналах США, России, Канады, Германии, Израйля,

Украины и Беларуси. Автор книг: «Грамерси-парк», «Посвящается дурам», «Жить легко», «Маленькая Луна», «Личная коллекция. Магнит Орис», «Шёлковый шёпот желаний». Лауреат и член жюри международных литературных конкурсов. Ведущая блогов и авторских колонок, литературный редактор журнала «Elegant New York» (США). Профессиональный член Американского ПЕН-центра и Национального

союза писателей США. В 2021 г. была приглашена к участию в сборнике «Русские зарубежные писатели начала XXI века. Автобиографии» (Германия). Академик Международной академии литературы, искусства и коммуникаций (Германия) и Международной академии развития литературы и искусства (Канада). Официальный сайт Татьяны Шереметевой www.tatianasheremeteva.ru

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ “СЛОВО\WORD”

Стоимость годовой подписки
(4 номера) – **\$69.00** (включая пересылку).
Цена отдельного номера – **\$15.00**
Имеются в распоряжении номера журнала
прошлых лет.

Чеки выписывать на имя :
CULTURAL CENTER FOR SOV.REFUGEES.

Адрес редакции:
CULTURAL CTR FOR SOV. REFUGEES
(SLOVO\WORD)
P.O. BOX 1768.
RADIO CITY STATION
NEW YORK,
NY 10101-1768 USA

Священник Николай Толстиков

ПРОСТИ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ

(главы из повести)

1

Губернатора арестовали прямо в рабочем кабинете. Утром взорвались трезвоном все местные СМИ — губернаторский советник по делам религии протоиерей Арсений Шишадамов, собираясь в «присутствие» в Белый дом, включил телевизор и, услышав новость, ошеломленный, тяжело опустился в кресло.

Еще вчера губернатор приезжал в восстанавливаемый храм в честь тезоименитого небесного покровителя; оставив снаружи свиту, лишь в сопровождении отца Арсения осторожно двигался в гулкой пустоте, боязливо прислушиваясь к звукам шагов, отдающимися мерными отголосками под сумрачными сводами, и на фоне изъеденных кислотными парами голых кирпичных стен — фабричка-артель прежде здесь валенки катала, — казался ссутуленным, сгорбленным, будто под неподъемной ношей. Остановился пред иконой святителя Николая, от лампадки затеплил свечу; неверный колеблющийся язычок пламени отбросил тень на лицо с темными провалами глазниц, состарившееся, изуродованное почти до неузнаваемости глубокими черными морщинами.

Выйдя из храма, губернатор опять был прежним: выслушивая комплименты кого-то из свитских, улыбался по-детски доверчиво и открыто; весь обкапанный рыжими конопущками, под два метра ростом, с большими мосластыми руками он походил на сельского механизатора, только что выбравшегося из кабины трактора, и сыпал, сыпал простонародными словечками, стоило заговорить ему без бумажки.

Шишадамов до сих пор втихомолку удивлялся, как это обычному председателю колхоза

удалось молниеносно влететь в губернаторское кресло! Впрочем, время такое! Он помнил: прежде в селе этот председатель даже боялся взглянуть в сторону маленькой церквушки на окраине, где отец Арсений начинал служить. Ясное дело: партийная установка насчет «опиума для народа», красный кусок картона в кармане всемогущ и потому всего дороже, и слово «атеист» хвалебное, а не ругательное.

И повернулось вдруг, что — уже губернатору! — советник по делам религии понадобился!

Он встретил отца Арсения как старого доброго знакомого, земляка, даром, что и когда-то кругами оббегал. В особо приближенные не допустил, но и в запятках свиты топтаться не заставил. Отцу Арсению достался прежний кабинет уполномоченного, замшелого «кегебиста», рьяно дни и ночи кумекавшего при Советах, как бы прикрыть немногие храмы в епархии. Шишадамову же предстояло хлопотать об открытии новых, то бишь о восстановлении порушенных, поруганных святынь.

Губернатор особенно увлекся идеей реставрировать бывший кафедральный собор в городе. Сам приехал к величественным руинам, с грустным — то ли напускным, то ли искренним — видом побродил около, покосился на чудом уцелевшую фреску на стене, по-мужицки хитроватенько прищурился и, поманив пальцем из своей свиты вертлявого, с бегающими глазками-маслинами человечка, кивнул:

— Осилим?

— Да под мудрым вашим руководством горы свернем!..

Вот эти неприметные человечки в аккуратных отутюженных костюмчиках, услужливые

и тороватые, подтолкнули губернатора под монастырь. Учужали слабину — прищур начальственных глаз, иногда острый и недоверчивый, от неприкрытой лести, похвалы и елея заметно мягчал. А уж господа-товарищи вовсю старались: в СМИ трещали, как сороки, мало-мальские заслуги губернатора везде выпячивая, всякие звания ему хлопотали, даже пособили пропихнуться в академики без высшего образования.

Отца Арсения они поначалу обходили, то ли пугаясь черной рясы и нарочито-сурового вида, лохматой гривы смоляных волос и с разлапистой проседью бородачи, то ли еще чего, но, заприметив особое расположение к нему губернатора, торопливо полезли со сложенными крест-накрест потными ладошками под благословение. Отец Арсений, взглянув в блудливые, без веры, и одновременно с холодным беспощадным расчетом глаза, давал приложиться к своей длани с некоторым внутренним содроганием; потом все-таки пообвыкся, воспринимал это как некий обязательный ритуал, сопровождая губернатора на разных презентациях, совещаниях, сабантуях...

«Они, они, эти «жуки» постарались, «подставили» простоту-деревенщину!» — все уверял и уверял себя Шишадамов, мчась на автомобиле к «Белому дому».

Еще позавчера в столице губернатор чуть ли не обнимался со стариком-президентом, мило беседуя; их улыбающиеся довольные лица в полную ширь показывали с телевизионных экранов на всю Россию. Ничего не предвещало беду... И все-таки чуял за собой неуправу, раз напрямиком с вокзала проехал в храм, где не бывал давно.

У подножия «Дома» отца Арсения плотно обступила тележурналистская братва. Защелкали фотоаппараты, застрекотали телекамеры; Шишадамов, щурясь от бликов вспышек, отвечал впопад и невпопад в подсунутые под нос диктофоны. Вечером он даже удивился собственному интервью в местных новостях. Куда-то подевались затяжные паузы, когда приходилось лихорадочно соображать что сказать, всякое невразумительное мычание, речь была четкой

и ясной. И главное — выступил-то в защиту губернатора, наговорил в его адрес разных лестных слов и усомнился в том, что справедливо ли того в тюрьму упрятали, он один. Прочие же чинуши, еще вчера бегавшие на полусогнутых перед начальством, теперь вовсю открещивались от взяточника, казнокрада и прочая, прочая...

Утром отцу Арсению был звонок из приемной правящего архиерея: предстоял тяжелый, нелицеприятный разговор и отрешение от должности.

Юродивая Валя до морозов бродила босиком; старушонки-прихожанки, жалостливо поглядывая на ее красные ступни ног, пританцовывающих по первому снегу, приносили и дарили ей нераженькую обувь: залатанные валенки или стоптанные сапожки. Но, странное дело, Валя пользовалась дареным недолго, опять топталась в притворе храма босая. Неопределенного возраста, и зимой и летом ходила она в старой замызганной пальтухе, черной, надвинутой на глаза, вязаной шапке. Притуливалась в углу, сжимая в скрюченных грязных пальцах свечку, и, служба — не служба, громко читала нараспев затрепанную, даренную теми же старушонками псалтырь. Первое время смотрители храма пытались Валю одергивать, даже норовили выгнать, и один ретивый старичок потащил было ее за рукав. Но с рябенького усохшего личика глянули остро и сердито прежде безучастные ко всему глазки, юродивая лишь на несколько секунд прервала свое заунывное чтение, чтобы сказать:

— Принеси мне буханку хлеба, а то до дому не дойдешь!

И дедок послушно побежал в магазин, приволок на всякий пожарный две буханки: хоть и блажная, а вдруг пожелания сбудутся!

Теперь о чем бы ни попросила отрывистым резким голосом Валя у прихожан, все выполнялось беспрекословно; и даже священнослужители обходили юродивую стороной — от греха подальше.

Сразу после Пасхи убогая выбралась из храма на волю во двор, обосновалась с книгами и свечами возле груды железных бочек из-под известки. Заунывный речетатив звучно разносился по ограде, разве что глушил его иногда веселый перезвон колоколов. Постоянно толпились возле Вали женщины, недавно начавшие ходить в церковь, с боязливой почтительностью вслушивались в ее бормотание, пугливо подавались назад, если Валя резко тыкала в кого-либо пальцем и что-нибудь требовала.

И сегодня юродивую, когда Шишадамов с архиерейского подворья подъехал к храму, где уже не был настоятелем, обступала кучка женщин. С еще неутихшей обидой и горечью от жестких начальственных слов отец Арсений стал присматриваться к тому, что делала Валя. В посудину с водой она опускала нательные крестики на цепочках и веревочках; купая их, напевала что-то и подавала прихожанкам.

«Святотатством же занимается! Крестики освящать удумала!» — вскипел Шишадамов и, выйдя из машины, без церемоний повлек Валу к выходу.

Та затрясла припадочно головой с выбивающимися из-под шапки грязными седыми космами волос, сморщенное личико перекосила недовольная гримаска, маленькие глазки пыхнули колюче:

— Сотона! Отойди! Будет и тебе!

Шишадамов почувствовал немалую силу в высохшей строптивой фигурке и с трудом выпроводил убогую за ограду...

«Теперь еще вдобавок и бесом обозвали!» — плюхнувшись обратно на сиденье автомобиля, он давил на газ и, несясь по улице, теща уязвленное самолюбие, говорил вслух:

— Не твое дело в грязь политики лезть, служи Господу! И так стал «свитским» попом, красоваться бы только на банкетах и приемах! послужи-ка простым священником в храме!

Выруливший на перекресток грузовик Шишадамов, распаясь, заметил слишком поздно, не испугался даже — на приступ страха не оставалось и мгновений, обмер только сердцем, успев выдохнуть:

— Не зlobиться бы, а помолиться Господу...

2

Нет, поначалу это было хуже всего. И ладно еще если на церковную паперть можно шагнуть прямо с земли, а не вскарабкаться по ступенькам, дождавшись чьей-либо помощи.

Шишадамов преодолевал высокий порог в притвор храма и, тяжело опираясь на костыли, исподлобья озирает спины и затылки молящихся. Пока никто не узнавал его, одетого в мешковатый невзрачный костюм, в расстегнутой болоньевой куртке. Пренная широкая «греческая» ряса пребывала дома на вешалке, отец Арсений боялся запутаться в ней и грохнуться, чего доброго, и со стороны посмотреть: поп на костылях — зрелище из малоприятных.

Прошептав молитву, он, нарочито громко стуча костылями — чтобы уступали дорогу — начинал пробираться к алтарю. Его замечали старые знакомые бабушки-прихожанки, улыбаясь растерянно и жалостливо, складывали крестнакрест ладошки, собираясь подойти под благословение, но порыв гас, стоило глянуть на вцепившиеся мертвой хваткой в перекладинки костылей руки Шишадамова со вздувшимися от напряжения венами.

Отец Арсений норovil как можно быстрее взобраться на солею, подскочивших на подмогу мальчишек-алтарников шугал с суровым видом: «Цыц!» и, ступив в алтарь, замирал, преклонив голову перед престолом Божиим. И опять обступали Шишадамова — теперь священнослужители; в братском целовании блазилась ему не искренность, а настороженность: как бы не причинить ненароком боль, и снова — жалостливые взгляды, то открытые, то таясь. И хоть бы кто глянул со скрытым злорадством: бесцеремонен и горд прежде бывал Шишадамов с братьями, мог и грубовато осадить в разговоре да и во время службы прикрикнуть на замешкавшегося. Но напрасно ждал отец Арсений, даже когда нарочито вызывающе отвечал на «дежурные» вопросы о здоровье, о жизни:

«Копчу вот небушко... Вашими, стало быть, молитвами».

Он отказывался присесть на креслице где-нибудь в уголку алтаря, снисхождения к своей немочи не терпел и службу старался отстоять до конца, повиснув на костылях, понутив голову. Искоса он иногда поглядывал на служащего иерея и, если бы кто посмотрел в это время пристально в глаза отцу Арсению, заметил бы в них и зависть, и обиду, и злые на судьбу слезы.

«Господи! За что ж так жестоко ты меня наказал!»

Этот немой вопль, крик, отчаянный плач вырвался из глубины души, стоило оклематься от наркоза на больничной койке и, страшась, обмирая сердцем, увидеть забинтованные искалеченные свои ноги, горящие нестерпимой болью. Красивый, дородный, сорокалетний мужчина, Шишадамов понял, что без костылей, если вообще сумеет подняться, не сделать теперь ни шага, и он, изуродованный, немощный вынужден будет судорожно и униженно хвататься за полы одежд спешащих мимо него благополучных и занятых людей.

Отец Арсений сжал зубы, зашедших попровеждать встречал холодным молчанием, что-то односложно, уставясь в потолок, отвечал. Сыновья-погодки, студенты старших курсов политехнического института, неловко, потупясь, топтались возле койки, где возлежал недоступный и даже какой-то чужой отец; нечасто захаживала и супружница-матушка. Положив в тумбочку пакет с гостинцами, стояла молча у изголовья — роскошная, вся из себя, дама из областной администрации, с короткой модной стрижкой и ярко крашенными губами. Говорили, что чета Шишадамовых неплохо смотрелась на официальных приемах. Не было и близко теперь в современной попадье от той дореволюционной матушки с белоснежной каемочкой платочка над бровями под плотно повязанным черным полушалком, богобоязненной, тихой и послушной. Попадья у Шишадамова поначалу, после института, смиренно труждалась в какой-то конторке, растила детей, помалкивала, где и кем служит

супруг, но едва утеснение духовного «сословия» ослабло и сошло на нет, карьере она сделала головокружительную — неглупая женщина и была. Чем-то и сам муж, «блистая» возле губернатора, ей поспособствовал.

И ныне вот о том сожалел, страдал... И она, поглядывая на поверженного изуродованного инвалида-мужа, тоже страдала, нервно и горько дергала уголками увядших под помадой губ и, если б не больничная палата, то наверняка бы полезла в сумочку за тоненькой ментоловой сигареткой с длинным фильтром.

Супруга вскоре после возвращения Шишадамова из больницы домой ушла, без истерик и слез, молча. Он предвидел это. Прежде она, если б и надумала, вряд ли бы решилась: престиж бы в глазах ее высоких начальственных сослуживцев пострадал, а теперь в это жестокое бездушное ко всему время ее не осудили, посочувствовали даже. Не захотела жизнь свою, яркую и неповторимую, возле калеки корежить.

В последние годы кто позорчей и любопытней подмечал, что блистательная шишадамовская чета держится как-то неестественно, ровно как разлететься в разные стороны норовит. Час пробил... Многим, особенно в свои молодые лета, помог отец Арсений подвинуться к Богу, к вере, а от половины-то своей, богоданной, не ведал как и отдалился. Или она от него...

Не бросила, не отступилась лишь одна тетка, сестра матери. Вековуха, бобылка, она жила сама по себе, семейству Шишадамовых не докучала, скорее те почти не вспоминали о ее существовании. Отец Арсений с трудом узнал тетку среди прихожанок восстанавливаемого храма: неприметная, укутанная в черный платок старушонка жила, оказывается, поблизости в ветхой коммуналке-развалюхе, уцелевшей как памятник архитектуры, и всю жизнь проработала на фабричонке в оскверненном храмовом здании. Как только в развалинах затеплилась церковная жизнь, была тут как тут, с такими же старушонками разгребала кучи мусора. И потом, когда в храме мало-мальски обустроились, на праздники старательно терла и скоблила

закапанные воском полы, чистила подсвечники, мыла окна — и все только за доброе слово, которое отец настоятель не торопился и молвить; на полуграмотных старушонок Шишадамов поглядывал снисходительно-свысока, с недоступной строгостью, и усмехался втихую, замечая, как иной батюшка располагал их к себе елейной ласкою: «Давай, давай! Может, рублишко лишний подадут!»

И тетку из прочих он не выделял, слышал только как-то от нее, что собиралась она остаток бренок жизни провести трудницей в монастыре. Да вот задержалась...

Куда б теперь без нее?! В дом инвалидов. Не возьмут — родня имеется и, вроде бы, не отказалась. Молчаливая тетка хлопотала на кухне, затевала постирушки, ходила в магазин, а уж когда было ей что немоготу, появлялись помощницы, старушки из прихода.

Они заходили в комнату, отец Арсений со стыда прятал глаза и не только из-за того, что стеснялся своего беспомощного вида...

Шишадамов после выписки из больницы шкандыбал на костылях по квартире, потом прихотился выбираться на улицу, во двор, а там и на близкую набережную. Жадно вдыхая весенний, напоенный запахами оттаявшей земли, речной воды, воздух, он смотрел, не отрываясь, на сверкающие в солнечных лучах кресты собора, белеющего на взгорке над извивом реки...

Разбитую всмятку шишадамовскую «волжанку» виновник аварии поменял на импортный микроавтобус: отец Арсений взглянул на испуганного парня, зашедшего в больничную палату, двух маленьких девчонок возле отцовских ног и не стал судиться. Конечно, подъялдыкнул ехидно гаденький чертенок: дешево, мол, здоровьишко свое ценишь, но Шишадамов тут же смирил его — сам не меньше виноват, Бог рассудит!

Добрый сосед выгонял микроавтобус из гаража, помогал отцу Арсению забраться в кабину. И было следом — восхождение на церковную паперть, жалостливые взгляды в храме, и сугубая, со слезами на глазах и рыданиями в душе, молитва в алтаре.

На выходе из храма, когда Шишадамов преодолевал последние метры до автомобиля, староста, шустрая нестарая женщина, сунула в карман свернутые деньги: «И не отказывайтесь! Велика ли пенсия!» Потом история эта повторялась всякий раз; отец Арсений уже горько усмехался — церковный праздник старался не пропустить, порою и через расхолодившуюся к непогоде немочь, стремясь помолиться со всеми, а выходило, что прибрёдал побираться, милостыню просить. И люди, наверное, верили, что творили благое дело, Шишадамову же казалось, что от него просто-напросто откупались.

Со временем он смирился бы с этим, перестал укорять себя, но... однажды в храмовый праздник за обильной трапезой оказался нос к носу с бывшим губернатором. Тот с торжественно-значимым выражением на лице ходил, держа в руках чашу со святой водой для кропления, за новым настоятелем на крестном ходе; забрызганный костюм на нем еще темнел пятнами, не успев просохнуть — так и воссел он во главе стола.

После пребывания в «Матросской Тишине» экс-губернатор повысох, пооблинял, веснушки на щеках и на лбу почернели, норовя превратиться в безобразные старческие родинки. Сидел он напряженно, будто кол проглотил, не как прежде — развалясь, и в цепком взгляде маленьких медвежьих глазок поубавилось много прежнего самодовольства: чувствовалось, что он оценивал теперь людей по нужности, необходимости себе, боясь ошибиться, не раньше — кто перья поярче распустил, с язычка медку капнул: мил товарищ!

После долгого следствия, суда и «впаянного» немалого срока осужденному вышло помилование от главного «дорогого россиянина». Разнесся слух, что губернатор отважно встал на пути алчных столичных олигархов,двигающих на Север грабительский, все чистящий под метелку проект, был ловко «подставлен» лстивым своим окружением и, почитай, за просто так угодил на нары. Патриот он, выходит, а не казнокрад и не взяточник! Освободясь, безвинный страдалец избрался президентом «карманной», созданной им же самим академии и стал якшаться с губернским

«дворянским собранием»: не иначе, в деревенских корнях его струилась «голубая» кровь.

Шишадамов, миновав столпотворение «джи-пов» и «волг» возле крыльца дома трапезной, не скоро взобрался по лестнице на второй этаж, прижимаясь к перилам и пропуская запаздывающих, к застолью приковылял последним. Повиснув на костылях, он оглядел впритык друг к дружке сидящих за столами; у самого входа с краешка лавки кто-то из молоденьких алтарных служек нехотя подвинулся. Гремя костылями, отец Арсений стал забираться за стол; в это время в честь экс-губернатора, знатного гостя и именинника, возгласили здравицу, вознесли бокалы с шампанским.

Шишадамов, кое-как примостясь и поддавшись общему порыву, тоже обхватил стакан за прохладные грани, но посудина выскользнула, и вино, пузырясь, растеклось по скатерти. Тут и нашел отца Арсения губернаторский прищур. В толчее, гомене именинник поначалу скользнул по Шишадамову равнодушным взглядом, как по убогому нищему, нахально пролезшему в застолье. Но теперь отец Арсений понял, что был узан — экс-губернатор смотрел на него с неподдельным интересом и любопытством, потом — оценивающе, через мгновение — сожалеюще. В глазах промелькнула сытая насмешка превосходства здорового человека над безнадежно больным уродцем, и всё — всякий интерес погас, больше бывший губернатор на Шишадамова не взглянул даже мельком.

Правда, когда все повскакали из-за столов проводить именинника, он как-то особенно

аккуратно обогнул неловко растопырившегося у выхода Шишадамова, старательно отворачиваясь в сторону, — боялся, видно, что бывший советник подковыляет к нему с какой-нибудь просьбишкой. Отца Арсения чуть не столкнули, а то бы и стоптали, спешащие на волю разгоряченные подобострастники; кто-то из них прошипел злобно: «Путаются тут под ногами...»

Пока Шишадамов спускался с лестницы, вся экс-губернаторская шатия-братия разъехалась, на аллейке в кустах за крыльцом одиноко маячило его собственное авто, сосед-водитель куда-то отбежал. Отец Арсений открыл дверцу, стал взгромождаться в кабину, почувствовал, что кто-то ему помогает, обернулся и увидел юродивую Валю.

— Вот видишь какой я... Прости, если сможешь.

Убогая молчала, вытирая грязным сморщенным кулачком слезы, а когда Шишадамов поехал, торопливо перекрестила машину вслед.

Николай Александрович Толстиков. Родился в 1958 году, живу в России в городе Вологда. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького, работал в газетах. Принял духовный сан, и ныне — священнослужитель храма святителя Николая во Владычной слободе города Вологды. Автор 5 книг прозы. Победитель в номинации «проза» международного литературного фестиваля «Дрезден-2007», лауреат «Литературной Вены-2008 и 2010», лауреат международного конкурса, посвященного 200-летию Н. В. Гоголя, победитель конкурса им. Ю. Дружникова на лучший рассказ журнала «Чайка» (США). Член СП России.

Анатолий Постолов

Отрывки из нового романа «Год майских жуков»

ГАЛИЦКИЙ РЫНОК

Живя обособленной жизнью, Миха не любил людские сборища, но делал одно исключение. Примерно раз в неделю он пешим ходом направлялся на Галицкий рынок. Базарная жизнь интересовала его в двух качествах — как источник пропитания и как живой паноптикум, меняющийся на глазах натюрморт, балаганный деревенский макияж в городском обличье...

Он всегда ходил по базару в потёртой кожанке и в каскетке с непонятной эмблемкой. Деревенские тётки его хорошо знали и, тем не менее, принимали за инспектирующего и с опаской заглядывали в глаза, когда он надкусывал пробный срез с фруктового ряда. Он с видом знатока вдумчиво пережёвывал дары природы, будто хотел вникнуть поглубже в пьянящую сочность груши или хрустящую свежесть яблока, оценить волокнистую вязкость абрикоса или кислотоватую терпкость вишен.

Он любил наблюдать, как горластые базарные торговки расхваливают свой товар, а прижимистые домохозяйки с гримаской сомнения прицениваются, торгуются и, не получив желаемой скидки, с той же гримаской отчаливают к другому прилавку.

Он мог простоять возле прилавка и побазарить с тёткой из предместья хороших полчаса, после чего покупал одно румяное яблоко или пупырчатый огурец и с видом знатока давал наставления касательно соленья, закваски или хранения продукта.

Иногда он останавливался, чтобы понаблюдать церемонию покупки живой курицы. Оробевшие от базарного гомона пеструшки

находились в плетёных корзинах, выстланных соломой, и ждали своей участи. Придирчивые хозяйки пробовали их на вес, ощупывали, раздвигали перья, проверяя мясистость грудки и жирность гузки. Курочка испуганно косила глазом, нервно цепляя плюсней несуществующий насест, от которого её оторвали и куда уже не было возврата. Но Миха всякий раз надеялся, что покупательница передумает и хохлатка ещё поживёт денёк-два... Надежды редко сбывались, он знал, чем всё закончится, но смотрел, как будто был под гипнозом, и когда, сторговавшись, женщина, не меняя устоявшуюся гримаску недовольства, доставала из кошелька червонец, на него накатывала душная тревога, чувство безысходности, и он, ругая себя сквозь зубы, спешил отойти в сторону, закурил сигарету и божился, что эту, на вид невинную, процедуру покупки живой птицы навсегда выкинет из головы, но время от времени попадался на приманку, леска натягивалась и крючок впиивался в сердце...

На Галицком рынке в сезонные дни появлялись жители южных республик, чаще всего грузины. Миха к ним долго присматривался, ходил вокруг да около, ничего не покупал — цены для него были неприступные.

Однажды он оказался на базаре около пяти вечера, накануне закрытия. Кое-кто из торговцев уже сворачивался. Миха остановился неподалёку от грузинской семьи — приземистого патриарха и двух его сыновей, на голову выше отца. Сыновья стояли с полусонным видом и смотрели на редкого покупателя, как перекормленный ребёнок на манную кашу, но глава семейства разговаривал вежливо, давал советы и своим спокойным

и задумчивым видом больше напоминал деревенского философа.

Миха увидел, как старик-грузин достал из-под прилавка небольшую пиалу и сделал из неё глоток. После чего поставил пиалу на прилавок и начал переговариваться со своим сыном. Михаил подошёл поближе и сразу почувствовал самогонный запах. «Давно мечтаю попробовать грузинскую чачу», — сказал Михаил, дружелюбно улыбаясь. Сыновья настороженно посмотрели на него из-под надвинутых по самые брови кепок, но старик остался спокоен и протянул пиалу: «Попробуй, дорогой, сам делал».

Так они познакомились. Старик, звали его Важа, внимательно изучал Миху, пока тот полоскал горло, и спросил, как только Михаил поставил пиалу на прилавок: «Воевал, да? Мой брат без ноги вернулся, умер год назад». Они немного поговорили о войне, а потом переключились на методику приготовления самогона. «Бурячиху не люблю, — сказал Важа. — Много сахар. Сахар не ем, сало не ем. Лепёшка, овечий сыр, кинза и стаканчик чачи. Жить будешь сто лет, и сильным будешь. Чача должен быть правильный. Наш чача вообще не имеет сахар. Иногда немножко дрожж даю, а лучше — ни сахар, ни дрожж».

Грузины собирались через неделю уезжать, поэтому Михаил два дня спустя опять пришёл на базар и принёс в термосе свою домашнюю самогонку. День выдался сырой и слякотный. Дождь моросил, не переставая. Народу на базаре крутилось немного. Тётки за прилавками закутались в свои хустки и нахохлились, как куры на насесте. Грузинское семейство тоже грустило, глаза у сыновей были сонные, а у старика печальные, слегка затуманенные ностальгией по своей сакле с виноградными куртинами на террасах.

Увидев Миху, старик оживился. Домашние запасы чачи у него кончились, и он обрадовался, когда Михаил протянул ему буряковку в термосном стаканчике. «Сахара в ней нет, сама свекла уже сахарная, но дрожжей немного добавил и мяту для вкуса», — объяснил он. Водка старому грузину понравилась. Они долго обсуждали плюсы и минусы разного типа самогонок, а под конец

старик, узнав, что Михаил гонит самогон в подвале, где и живёт, посоветовал ему делать травяные настойки, не требующие сложностей перегонки, и пообещал привезти в следующий раз зёрна кинзы для кориандровки и рассказать секреты и тонкости приготовления настойки.

Миха приподнял свою фуражку, собираясь уходить, но Важа его остановил. Он добыл из-под прилавка пирог, отрезал два ломтя и предложил Михаилу: «Это лобиани. Вкусный. Бери два. Один себе, а другой вон тому человеку дай... Видишь безногого возле мясной лавки? Я ему всегда немного чачи подношу, он мне брата напоминает. Война с человеком такое натворила, ему теперь хуже, чем собаке бездомной».

Безногий, мужчина лет сорока, сидел на деревянной колёсной тележке, какими пользуются грузчики для перевозки мебели. Рядом с ним лежали два толчковых укороченных костыля. У него было испитое, будто вдавленное внутрь лицо, с почти бесцветными глазами и расплюснутым носом. Дождь орошал его непокрытую голову, мокрая прядь прилипла к переносице и с неё на изрезанную лиловыми прожилками щеку стекал, как по водостоку, прозрачный ручеек.

Миха достал из сумки термос, вылил в стакан остаток самогонки, сверху положил пирог и протянул безному.

— Пирог от Важи, самогонка от меня.

— Богатым буду, — сказал безногий и медленно выцедил самогон.

Пирог он сунул в карман своего полностью намокшего и сильно заношенного пиджака, надетого поверх дырявой тельняшки.

— А чего ты возле мясной лавки сидишь? Там под навесом место есть, — сказал Михаил, присев рядом на корточках.

— Так здесь подносят иногда из мясного, у них бакшиш всегда бывает, народ мясо любит... а еще грузины меня жалуют, а то и тётка какая огрызком угостит, так что я не в обиде.

— Тебя как зовут, солдат?

— Митей звать.

— А где живёшь?

— Один добрый человек уже второй год как приютил и даже подзаработать даёт. А до этого у старухи одной жил в тараканьей дыре. Свою ренту ей отдавал, чтоб не выгнала, но всё равно — хоть бери да подыхай... Попрошайничать пробовал, милиция гонит, а тут добрый человек объявился. На улице ко мне подошёл, хочешь заработать немножко на хлеб и на водку? А кто б отказался. И вот он меня повёз в лес, а машина у него «Победа» — старенькая, но ещё бегаёт. Приехали мы в лес. Вылезай, говорит. Тут, говорит, земляники много, ты ведь солдатик ползать умеешь, вот оставь деревяшку в машине, я тебе лукошко дам, ты полазь, земляничку пособирай. У меня радикулит, я нагибаться не могу, а тебе жильё будет и, если лукошко соберёшь, так я покормлю тебя и налью стаканчик.

Миха поднялся. Мышцы у него затекли, в коленных суставах покалывало иголками. На какую-то секунду ему почудилось, что у него отнялись ноги и тело висит в воздухе.

— Ты это придумал, Митя? — тихо спросил он.

— Зачем? — улыбнулся безногий, глаза его слегка посоловели. — Добрый человек мне напарника нашёл. Мы из разных родов войск оказались, но ничего — сжились. Ваня — пехота, а я из моряков. И сначала оно вроде ничего было. Летом ягоды собирали, осенью грибы. Добрый человек кормит, водочку наливает. Хата у него от города недалеко, в предместье, и сарайчик есть. Мы там ночевали, он матрасы на полу положил, жить можно... Сам он никогда не продавал. А нам для продажи ещё и семечки подбрасывал или орешки земляные. Люди покупали, особенно женщины пожилые. А молодые боялись... Я ей говорю, подойди, красавица, я тебе земляничку в ладошку насыплю, а она боится... Ночью только плохо. Ночь как придёт — выть хочется. На ночь чекушку с братком выпивали, чтоб легче забыться, да куда там. Особенно Ванька страдал. Однажды говорит мне: Ты, Митёк, ещё покрепче

меня, а мне неволю, я уйти хочу... Куда, спрашиваю, ты пойдёшь? Он лежит на спине, смотрит в дырявую крышу, там звёздочки в морзянку играют, он и говорит — туда хочу.

А потом спрашивает: помнишь, дерево в лесу обгоревшее? Ну, как не помнить, мы там вокруг лазали, там грибная поляна рядом. Дерево было, видать, высокое, сильное. В него молния ударила, вся верхушка обгорела. И стало оно вроде инвалида, как мы... А задумал он перебросить веревку через отросток, обмотать вокруг ствола и узлом завязать так, чтоб петля висела метра на полтора от земли. Мне, говорит, больше не надо. Я спрашиваю, а как же ты до петли доберёшься? И он мне спокойно так, будто кино рассказывает — а я тебе на плечи залезу. Я сперва — ни в какую, а он весь белый стал и кричать начал, если не поможешь, я на улице под колёса махну, мне терять нечего...

И вот теперь я один у доброго человека. Ночью лежу, спать не могу, рядом пустой матрас и тележка Ванина колёсиками кверху, а иногда среди ночи проснусь и кажется, что кто-то живой рядом, шорох слышу, как вздохи... а это мышка пробежала...

Безногий замолчал.

— Ты здесь завтра будешь? — спросил Миха.

— Нет, ни завтра, ни послезавтра... Может, через неделю, если погода выправится... сейчас после дождей грибы пойдут, так меня добрый человек хотел в грибные места повезти, может, дня на два уедем...

— Митя, а если я куплю эту тележку, тебе ведь тоже лучше будет... И заплачу я тебе. Ты спроси своего доброго человека, сколько он хочет за тележку, а я тебе вдвойне уплачу. Ему и говорить не надо.

— Ну, я не знаю...

— И выпьем мы с тобой за упокой души Ивана.

— А это дело доброе... Я спрошу... Рублей за пять продаст, точно продаст...

Он сразу повеселел, откинул со лба намокшую прядь и посмотрел на Миху светлыми, как лунный камень, глазами.

КНИЖНЫЙ ОБМЕН

После школы Марик зашёл в большой книжный магазин на площади Мицкевича. Он знал, что ничего интересного не найдёт, но надеялся увидеть магазинного завсегдатая, а по сути дела — фарцовщика по имени Феликс. Вокруг Феликса всегда крутилась немногочисленная стайка книголюбов, искателей антиквариата, самиздатной литературы или просто богато изданных книг, чтоб украсить домашнюю библиотеку.

Феликс был осторожен и сделки по купле-продаже обставлял как обычный книжный обмен. Но дотошный Марик однажды увидел такую искусственно разыгранную сценку: представительный мужчина в шляпе подошёл к Феликсу и протянул ему книгу, при этом громко сказал: «Как и обещал, роман Бондарева “Тишина”». Феликс поблагодарил, пожал гражданину руку, передал ему книгу, завернутую в газету, и так же показушно продекламировал: “Чингиз Айтматов. Избранное”. Мужчина быстро растворился в толпе, а Феликс подошел к витрине магазина, что-то там начал рассматривать и почти неуловимым движением вытащил из книги несколько десятирублёвок. Марик стоял сбоку, и отражение в витрине выдало ему маневр фарцовщика.

Книжная биржа, конечно, в подмётки не годилась другой — футбольной, которая митинговала неподалёку, в центральном скверике на Первомайской. Там спорили о достоинствах и недостатках городской футбольной команды, а иногда даже вступали в драку, если мнения не совпадали. Книжная биржа позволить себе такую роскошь, как свобода слова, не могла. Люди разговаривали с оглядкой. Запретные имена Солженицына, Пастернака, Синявского и Даниэля не произносились вслух, хотя самиздат этих авторов в птичьих дозах появлялся на рынке, но подобный торг происходил где-то за кулисами.

Органы бдительно следили за книжным обменом. Запретить его на законных основаниях было трудно, хотя для органов закон воистину

был как дышло, но охотились главным образом за самиздатом. Контакты между книжными фанатами входили в категорию опасных связей, но, похоже, сами участники обмена уже не могли жить без этого глотка свободы с выплеском адреналина и дрожью в коленках. Запретный плод того стоил.

Марик покрутился в магазине примерно минут десять и вскоре через стекло витрины увидел Феликса, который стоял метрах в двадцати от магазина с кульком семечек в руке. Марик выскочил на улицу и стал зигзагами ходить неподалёку. Феликс был не один, у него происходил словесный обмен с сутулым мужчиной в берете и помятом плаще. Мужчина то и дело оглядывался и что-то нашёптывал Феликсу. Голова у него крутилась, как у суриката. Марик стал прислушиваться. «Импрессионисты уже есть, ты мне обещал Босха...» — нервничал клиент. «Потерпите, я жду... у меня зато есть...» — Феликс озабоченно посмотрел на небо — не собираются ли тучки, а по ходу дела стрельнул глазами по сторонам и шепнул на ухо клиенту чьё-то имя, добавляя зловецким шепотом: «сам...» Вторая часть слова подразумевалась. Её даже вслух боялись произносить.

Клиент отрицательно помахал головой, и в духе той же детской конспирации, поправляя берет, что-то торопливо произнёс. Марик успел уловить: «...Тяжело найти. Мне из Москвы обещали Брехта...» После чего мужчина, видимо, от напряжения или опять же в качестве прикрытия закашлялся тяжёлым грудным кашлем и вытащил из кармана носовой платок, такой же мятый, как его плащ.

Марик терпеливо ждал. Он понял, что Феликс его заметил, их взгляды два раза пересеклись. Наконец, мужчина в берете отчалил, мятый несвежий платок торчал из его кармана, как порванный парус. Марик приблизился к Феликсу, тот, расслабившись, достал из кулька горсть семечек и, небрежно поплёвывая, произнес:

— Ещё один, которому нужна любовь. Да? Я угадал? Книгоед и букволюб новой формации. Если нужен учитель английского или иврита, так

можем обеспечить, — последнее он произнёс невнятно, сплёвывая шелуху и поглядывая по сторонам с равнодушным видом.

Марик испугался и покраснел, не зная, что ответить. Феликс усмехнулся, добыл из кулька горстку семечек и протянул Марику.

— Меня, вообще, книги интересуют. У вас случайно нет «Трёх товарищей»?

— Случайно нет, — съязвил Феликс. — А вот на троих товарищей сообразить — это пожалуйста, но только не у нас, а напротив, у болельщиков.

— Я серьёзно, — обиделся Марик.

— Мальчик, — сказал Феликс. — Я продажей в общественных местах не занимаюсь. Вон видите, вокруг фонтана ходит старичок с палочкой. Он не только палочкой по асфальту стучит. Понятно? Принесите что-нибудь стоящее на обмен. Но сразу предупреждаю — не надо собраний сочинений Бальзака, Горького или Шолохова. Первым уже затоварены, за вторым тоже что-то очередь не выстраивается... Может, у вас есть Босх, так я вам не то что трёх товарищей, а ещё и Сэлинджера «Над пропастью во ржи» добуду или даже Хемингуэя.

— Босх? — переспросил Марик, пытаясь угадать, о ком идёт речь. — Философ?

— Художник, — ответил Феликс. — Рисовал райские кущи и под носом Отца небесного совокуплял грешников, причём одних оголял до пупа, а с других всё снимал, даже носки, так что тема опасная, сами понимаете, не марксистская, ох, не марксистская.

— У меня есть Паскаль, «Мысли», — сказал Марик.

Феликс сразу напрягся, сплюнул шелуху, и в глазах его появился сосредоточенный блеск рыболова, у которого произошёл долгожданный клёв чего-то большого и глубинного...

— Какое это издание? Я что-то не помню, когда его в советской России издавали.

— Издание 1903 года.

— Мальчик, у меня есть клиент, который за дореволюционного Паскаля выложит тебе всю «всемирку».

— Правда?

— Ну, не всю, всей ещё просто нет, но два десятка выложит, гарантирую. Придётся, правда, поторговаться, чтобы не подсунил историю заводов и фабрик, но я тебе помогу — за процент, разумеется.

— Это папина книга, она подписана.

— Что значит — подписана?

— Её папе подарил его учитель, профессор Ландау, — неожиданно для самого себя соврал Марик, и его тут же окатило горячей волной канатоходца, теряющего равновесие над пропастью.

Феликс остолбенел.

— Мальчик, за книгу с подписью самого Ландау мой клиент даст тебе, кроме всей «всемирки», журнальный столик эпохи второй французской революции и яйцо Фаберже. Столик, правда, без одной ножки, а яйцо — подделка, но высочайшего класса. Работа Кочергина — это один из лучших московских гравёров. Он золотые монеты царской чеканки подделывает так, что только isotопный анализ может распознать, и то с третьей попытки.

— Там написано «Моему ученику...» — на этот раз с облегчением соврал Марик, потому что дарственная на обратной стороне фронтисписа действительно сохранилась, но чернила выцвели так, что прочитать её практически было невозможно.

Феликса сразу будто подменили. Всё его дутое фиглярство вышло из него, как воздух из пробитого автомобильного колеса. Глаза стали тусклыми и равнодушными. Он скривился и в хамоватой манере биндюжника смачно сплюнул, но шелуха, отяжелевшая от налипшей слюны, попала на воротник его куртки. Он сбил её щелчком и процедил:

— Идите, мальчик, вы изгадили последнее, что у меня оставалось после неразделённой любви к Клавдии Кардинале, — чувство удачной сделки.

Марик дерзко посмотрел на Феликса, на его щетинистую худую шею с острым кадыком и сказал:

— Я её люблю сильнее, так что вы второй на очереди, — после чего резко повернулся и пошёл,

не оглядываясь, но не успел сделать и двух шагов, как Феликс его окликнул.

— Как тебя зовут? Надеюсь, не Алэн Делон?

— Матео... Меня зовут Матео.

— Я смотрю, ты действительно конкурент. Ладно, Матео, принеси что-нибудь на обмен, только без дарственных посвящений и библиотечных штампов. А я тебе достану «Трёх товарищей». Замётано?

ЧАЕПИТИЕ ПО-ЛЕЩИНЕРУ

Вечером Марик с мамой и бабушкой сели играть в карты. Папа играть отказался, сославшись на срочную работу. Игра велась двумя маленькими колодами и называлась реми-бридж. Несмотря на красивое англо-французское название, игра строилась на простом принципе карточных комбинаций по мастям и по очередности. Выигрывал тот, кто избавлялся от готовых комбинаций первым. На руки сдавалось по тринадцать карт, как в настоящем бридже. Во время очередного хода из колоды добиралась четырнадцатая карта, чёртова дюжина таким образом на короткий промежуток времени облагораживалась. Бабушка не могла удержать все четырнадцать карт, у неё дрожали руки и сползали на нос очки, несколько карт она всегда откладывала в сторону и часто подглядывала, чтобы не забыть, где какая масть, но тут же забывала и постоянно проигрывала. Жалея старушку, мама с Мариком в процессе игры давали бабушке подставной выигрыш, что сразу её молодило лет на десять. Наигравшись, всей семьей пили чай с вареньем.

Папа иногда к ним присоединялся, но чай пил редко, предпочитал чашку кофе, при этом всегда сердился, что, кроме кофе с цикорием, ничего приличного в магазинах нет. «В Европе люди давно уже пьют растворимый, а в нашем захолустье его днём с огнём не сыщешь, разве что попробовать найти ход в тайные распределители...»

Картинка чаепития в семье Лисов, несмотря на свой традиционный уклад, вызвала в своё время пристальный интерес у местного художника

Давида Лещинера. Это был сутулый худощавый мужчина с нечесаной гривой седых волос, с измождённым лицом и тревожным блеском в глазах. Зрачки его, всегда наполненные влагой, были похожи на две крупные маслины.

Являясь членом Украинского союза художников, он тем не менее с отчаянной решительностью шёл против официальной линии и рисовал картины в основном на еврейскую тематику. Картины накапливались в его небольшой квартире, постепенно сужая полезную площадь до узких проходов в туалет и на кухню. Еврейская тема в буквальном смысле завладела умом художника. Это была психическая реакция на потерю отца и матери во времена сталинских чисток, а в самом начале войны во время эвакуации из Минска, где жили Лещинеры, под развалинами дома погиб его единственный брат.

Картины опального художника никто не покупал, и они не выставлялись. Власти не трогали изгоя, так как его сумасшествие не представляло опасности с политической точки зрения.

Бабушка познакомилась с Лещинером, когда он рисовал этюды в парке Костюшко. Он делал набросок пожилой пары, сидевшей на скамейке. Ничем не примечательный старик в облезлом драповом пальто и старушка с остреньким белым личиком бросали хлебные крошки голубям, суетившимся возле их ног. Под кистью Лещинера они превратились в двух старых евреев с жёлтой звездой Давида на лацканах. Голубиное сборище Лещинер разумно сократил до трёх особей, напрасно ждущих жалкие крохи из рук голодных стариков.

Бабушка сделала комплимент, заглядывая через плечо художника. Лещинер повернул голову и сказал дрожащим голосом:

— Эти люди пережили войну, но боятся говорить. Я — их голос, и я не боюсь. — Он судорожно всхлипнул, и большая мутная слеза выкатилась из его глаза.

Бабушка умилилась, хотя пара стариков ничего общего с евреями не имела.

— На что же вы живёте? — спросила она.

— Перебиваюсь случайными заработками и нищенской пенсией. Иногда люди заказывают портреты для себя или пейзажики, этим и пробаваюсь.

Бабушку переполняла жалость. Она захотела посмотреть картины Лещинера и намекнула, что могла бы приобрести какой-нибудь этюд. Давид пригласил бабушку к себе и показал несколько картин, среди которых особенно выделялось большого размера полотно под названием: “Еврейская семья смотрит телевизор”.

На картине он действительно изобразил целую семью в составе бородатого патриарха, его тощей, как жердь, жены, детей, зятьёв, невесток и внуков. Все они сидели в напряжённых позах людей, готовых сорваться с места по первой команде, и выпуклыми испуганными глазами смотрели в экран телевизора КВН с линзой, хотя эту модель уже лет двадцать, как перестали производить.

Уходя от Лещинера, бабушка увидела сидящую на кухне молодую женщину, которая воровато отвела в сторону глаза.

“Моя уборщица”, — объяснил художник.

Давид Лещинер слегка схитрил. Будучи тронут умом, он от Бога получил взамен ненасытное либидо. Примерно раз в месяц он приводил к себе очередную натурщицу, соблазнённую обещаниями хорошего заработка и трёхразовым питанием. Чаще всего в его сети попадались студентки, для которых лишняя копейка давала возможность купить новые чулки или пошить выходное платье. Во время студенческих каникул, когда рыбка подолгу не клевала, Лещинер ехал на вокзал и там присматривал какую-нибудь деревенскую деваху, сбежавшую из колхоза, чтобы попробовать прелести городской жизни.

Он приводил заблудшую к себе, кормил бутербродом с колбасой и рассказывал заранее заготовленную мансу, создавая фантазии в духе Паниковского.

“Девочка, — говорил он. — Мне позировали звёзды экрана. Не мелкая шелупонь, а натуральные звёзды. Любочка Орлова сидела на моём подоконнике, и я рисовал её точёные ножки

под аккомпанемент птичьих трелей. Сейчас этот портрет находится в Третьяковке. А Людочка Целиковская, вы не представляете, — это же прирождённая натурщица. Она умела замирать на полтора-два часа, причем, в трудной позе Афродиты Родосской. Когда я учился в Академии, ни одна натурщица не могла продержаться в этой позе больше десяти минут, а Людочка, вы не поверите, сидя на корточках и держа в руках свои распущенные кудри, просто каменела. У меня сохранился набросок, я вам покажу. Оригинал, к сожалению, пришлось продать первому заместителю министра рыбного хозяйства”.

После чего он показывал растерянной жертве какой-нибудь женский портрет, в котором Целиковскую напоминали разве что кудряшки, обрамляющие лоб.

Лещинер усаживал новенькую на кухне рядом с газовой плитой, и таким образом у него оставалось небольшое свободное пространство для установки мольберта. Натурщицу он раздевал постепенно, давая понять, что высокое искусство не терпит суеты. Но уже оголив девушку до пояса, он не мог сдержаться и быстрой кистью голодного пихаря малевал что-то давно накатанное в манере Ренуара. Одновременно, не закрывая рот, он сочинял легенду о богатом заказчике, готовом платить хорошие червонцы за “натуру в стиле ню”. Объяснив девице, что краски будут сохнуть как минимум неделю, Лещинер всё свободное время проводил с ней в постели, сменив буйство красок на буйство природы. Кровать качалась и скрипела, как незаконопаченный баркас во время сильной качки.

Но больше недели Давид не мог заниматься плотскими радостями, в нём внезапно пробуждалась совесть, и ему хотелось снова вернуться к еврейской тематике. Он быстро избавлялся от девушки, вручая ей немного денег и её же портрет в стиле ню, после чего, импровизируя на лету сочинённой молитвой и роняя мутные слёзы раскаяния, начинал искать еврейский сюжет.

Посоветовавшись с мамой, бабушка пригласила Лещинера как-то вечером на чай. В процессе

чаепития художник загорелся идеей семейного портрета в духе Кустодиева, но без самовара, с чисто еврейским уклоном. Он намекнул, что чаепитие в еврейской семье — это ещё непаханная целина, и он был бы счастлив создать монументальное полотно на столь возвышенную тему. Монументальность бабушку испугала. Они сошлись на размере метр на полтора.

В течение двух недель каждый вечер Давид Лещинер приходил на сессию, как он сам это называл, имевшую место происходить в гостиной. Поработав два-три часа, он аккуратно накрыл холст отрезом полотна, пил чай и прощался до завтра. Вначале процесс очень заинтриговал Марика. Но вскоре ему наскучило позировать, он стал вертеться и часто бегать в туалет. Лучше всех позировала бабушка. Она сидела, стараясь не шелохнуться, и по просьбе Лещинера держала на весу чашку, которую он милостиво разрешил не наполнять чаем. Папа сослался на занятость, полагая саму идею еврейского чаепития нелепой и даже опасной. Но Лещинер сажал Марика на предназначенный папе стул, делал некоторые масштабные поправки и постепенно папа появлялся на картине, хотя явно отставал в росте и объёме от других членов семьи. После сессии бабушка угощала художника чаем с маковым пирогом и вареньем. Давид пил с блюдечка и жаловался на дороговизну жизни и нехватку жилой площади для больших проектов.

Наконец, картина была завершена. Художнику вполне удался пузатый заварочный чайник гжельской работы, стоявший на переднем плане... Бабушка на холсте смотрелась лет на десять моложе и чем-то напоминала Екатерину Великую. Лещинер сделал ей красивую укладку и тщательно попудрил морщины. Папа выглядел довольно куцо, был узкоплеч и почему-то носил старомодные круглые очки, хотя у него была хорошая роговая оправа и очки он надевал только для чтения. Марик повзрослел и приобрёл нагловатый вид фармазона с Балатьяновской. Но лучше всех получилась мама. Она помолодела лет на двадцать. Её карие глаза стали

изумрудными и загадочными, а чуть припухшие и слегка приоткрытые губы, казалось, созрели для поцелуя.

— Ваша дочь — красавица, — сказал бабушке Лещинер, прощаясь. — Если бы я был немножко моложе, я бы за ней приударил.

— Но она же замужем, Давид, — с довольной улыбкой промолвила бабушка.

— Я бы её отбил или похитил, — решительно заявил Лещинер. Глаза у него загорелись, и он стал похож на вождя краснокожих, готового снять скальп с конкурента.

— Эх, молодость, куда ты удалилась! — произнёс он с чувством.

— Вы совсем ещё не старик. Если бы я была помоложе, вы бы, наверное, и меня захотели похитить, — кокетливо улыбнулась бабушка.

Лещинер неожиданно наклонился и поцеловал ей руку. Когда он выпрямился, его глаза были полны слёз, а оливковые зрачки, казалось, вот-вот выпрыгнут из орбит.

— Картину можете оставить себе. Я вам её дарю.

— Ну что вы, не надо, я заплачу, — пролепетала бабушка.

— Танечка... — он сделал многозначительную паузу и посмотрел куда-то вдаль, видимо, вспоминая кудрявую головку Людочки Целиковской. — У вас нет таких денег. Я не хочу вас разорить. Дайте мне тридцать рублей, чтобы оправдать затраты на краски и холст.

Картина “Чаепитие в еврейской семье” никогда не нашла своего места на стенах гостиной. Куда бы бабушка и мама её ни вешали, гостиная сразу становилась заметно меньше. Папа посоветовал отнести шедевр в комиссионный. “Вам нечего волноваться, — сказал он бабушке. — Нас всё равно никто не узнает. Хотя вас может выдать заварочный чайник. Удивительное сходство с оригиналом”.

В конце концов, полотно Давида Лещинера нашло покой за бабушкиным шифоньером. Иногда бабушка вытаскивала картину, долго на неё смотрела, вытирала пыль и, что-то бормоча на идише, задвигала обратно.

Анатолий Постолов. Родился в 1946 году. Три первых жизненных этапа — детство, отрочество и юность прошли во Львове. После окончания факультета русской филологии Львовского университета четыре года работал журналистом в городе Норильске на Таймыре. В 1979 году эмигрировал в США. Жил в Нью-Йорке. В настоящее время живу в Лос-Анджелесе. Пишу стихи, прозу, сочиняю песни, участник концертов и фестивалей авторской песни. Публиковался в альманахах

поэзии: «Зеркало», под редакцией Петра Вегина, 2002 г. «Общая тетрадь», Издательское содружество А. Богатых и Э. Ракитской. М., «Муза» Альманах. Две книжки стихов: «Воспоминание о Фалерно», Лос-Анджелес, 1985, и «На светлой стороне стены», «Lulu. Internet-reliz», 2008. В 2005 — роман «Суперпозиция», а в 2011 г. в московском издательстве «Время» вышел роман «Речитатив». Сейчас готовлю к печати роман «Год майских жуков».

Сергей Зельдин

ПРЕКРАСНОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ

Пенсионеры стояли за пенсией, а я за туалетной бумагой и вафлями «Артек» в пачках.

Глядя на счастливые морщинистые лица, я испытывал не чувство зависти, но уважения к ветеранам, закончившим свою войну на ступенях почтового отделения.

Лично у меня пенсия все время отодвигается, как линия горизонта, если к ней идти. В советские времена я бы уже вот-вот получал ее. А теперь мне требовалось прожить не то три, не то все семь лет, что в условиях теперешних реалий было проблематично. У нас в «Житомирбудртансе» уже минимум двое, почти доживших до радостного дня и считавших, что пенсия у них в кармане, все-таки умерли, не дотянув до нее. Это напоминало смерть Моисея на пороге Ханаана.

Слушая радостный гомон и думая, что как же это славно успеть получить пенсию до рокового конца, я подумал, что еще такого прекрасного я видел в своей жизни, о чем мечтал и о чем грезил.

Я не брал прекрасное в возвышенном плане, возвышенный план мне ужасно надоел за последние семь лет. Нет, я думал об именно вещах, простых и верных, которые можно осязать или хотя бы пощупать. Мечты старости я сразу отбросил. Ну что, кроме пенсии, может хотеть старик, которому осталось всего ничего? Разве что здоровья деткам и внучке, да самому доскрипеть, чтобы увидеть, чем кончится с Украиной. А в материальном плане уже ничего не хочется. Ну, может очки посылнее, или поставить пару зубов. А хотя зачем? Нет, старость можно отбросить.

В молодые годы хотелось многого: гнездышка с евроремонтом, куда можно водить девушек и женщин. Автомобиль, вишневую «девятку», чтобы на нем их катать. Джинсы «врангеля», нужные для представительства и служащие тем, чем для токующего тетерева служат алые брови и пышная грудь. Вообще-то я считаю, что модно одеваться мужчине стоит только до тех пор, пока кожаными штанами он подманивает самок. А потом уже можно не стараться. Один мой друг по фамилии Лях, который чем ближе к смерти, тем становится моднее, опровергает меня и говорит: «Это надо, чтобы себя уважать!» Ну, не знаю, с чего бы я начал уважать себя в сэконд-хендовском прет-а-порте. Вон Маяковский ходил в желтой кофте и ничего. Кстати, желтая кофта имеет свою давнюю историю. Такой почетной кофточкой китайский император премировал мандаринов за хорошую работу. А если не оправдывали доверия, присылал им шелковый шнурок, чтобы сами удавились. И что вы думаете — давились! Плакали, а давились. Вот что творилось в Китае еще до Мао Цзэ Дуна. А тут Маяковский. Смешно. Футурист, что с него возьмешь. А Есенин был имажинист. А Хармс — вообще не выговоришь.

Тут очередь подвинулась и я вместе с нею. Да. И вот, желая в молодости многого, я и близко не испытывал тех острых ощущений, тех бурных желаний, как в более детском возрасте 6–8 лет. Я это говорю, потому что прекрасно помню те волшебные предметы, те чудесные вещи, я бы даже сказал, артефакты, так же ясно, как скажем, имя жены — Алена. То есть Наталья.

Так-то у меня с памятью плохо. Но соображаю хорошо, хотя и не всегда. Жена, выражая это более решительно, говорит, что у меня как не было,

так и не будет мозгов, но мне кажется, она перегибает палку. Но может, и не совсем. Так, я не понимаю многих своих поступков, как будто их совершал какой-то другой идиот, а самое главное, не представляю, почему так быстро пронеслась жизнь. Удивительно, как Есенин, будучи совсем еще зеленым имажинистом, мог сказать что-либо подобное:

Не жалею, не зову, не плачу.

Жизнь моя? Иль ты приснилась мне?

Замечательно. Грандиозно. Дают Нобеля черт знает кому, а тут вон. Ну конечно, поэтище, любимец Аполлона. Как это у него: «Шепот, робкое дыханье, пенье соловья...» Хотя в жизни был тем еще фруктом. Но это в порядке вещей — гениальный художник обязательно немножечко маньяк и трюшечки негодяй. О'Генри сидел в тюрьме за грабеж. А Франсуа Виньон вообще кого-то пришил. Бенвенуто Челлини отравил мать. Это ничего. Им можно.

Да. Так вот, ничего особенного не помня за последние 50 лет, я, тем не менее, отчетливо помню, как, дрожа внутри и вытирая слюни, желал обладать в детстве двумя вещами, а одной даже обладал, но очень короткое время, где-то с полчаса.

Первой из этих вещей, а точнее, артефактов, был деревянный автомат с круглым диском у одного взрослого пацана в городе Волжском. Позже я узнал, что такой автомат называется «пэ-пэ-ша», а тогда не знал, да мне это и не было нужно, так я был раздавлен и очарован.

Мы тогда с папой и мамой жили в молодом городе Волжском, раскинувшемся на берегу Волги. Голые пыльные дворы с тонкими хворостинами будущих карагачей и тополей время от времени облагораживались кучами свежего песка для детского досуга. Мы рылись в нем, как куры, копали его лопатками, возили в своих самосвалах и просто обсыпали друг друга, крича, что это дождик. И вот однажды, когда я радостно выбежал на улицу погулять, вскарабкался на свежую кучу волжского песка и уже распахнул детскую пасть, чтобы истошно заорать, как это любят шестилетки, я вдруг захлопнул рот

и, почувствовав слабость, увидел «его». Нельзя сказать, чтобы папа и мама не покупали мне игрушек. У меня были и самосвал, и пестик, и даже велосипед «Ветерок» на тонких колесиках. Но этот «пэ-пэ-ша»... Видно, его выстругали отец или дядя этого взрослого пацана — он был как настоящий, он был лучше настоящего — с жестяной скобой вокруг спускового курка, с большой «мушкой» на конце толстого ствола, с изящнейшим прикладом и, главное, с круглым, коричневого цвета, диском для патронов. А еще главнее, что он был больше игрушечного, почти в натуральную величину.

Я потерял дар речи. У меня прервалось дыханье и сжалась мошонка, что говорит о с детства заложенном во мне чувстве прекрасного. Это было как внезапная любовь Ромео к Джульетте. Даже больше — Отелло к Дездемоне, до платка Яго. Взрослый пацан, хозяин автомата, заметил мое состояние и сказал: «На, чушкарь, полапай!» Я благоговейно взял этот «пэ-пэ-ша», большой и тяжелый, с трудом нацелился и сказал: «Кх! кх! кх-кх-кх!!!»

Пацан забрал автомат назад и сказал: «Беги, мальчик, скажи маме, пусть даст пять рублей, а я тебе продам».

Видно, это был третий малый. В Волжском вообще было много тертых калачей из-за тяжелой криминальной обстановки, особенно после очередной амнистии. Естественно, это отражалось и на молодежной, и на подростковой, даже детской, среде. Видать, этот пацан был та еще птица со своими дядькой и папашей. Как ни околдован я был автоматом, как ни грезил обладать им, чудовищность названной цены — пять рублей — потрясла меня. Я повернулся и с чувством альпиниста, не дошедшего до вершины Джомолунгмы двадцати шагов, стал спускаться с кучи. Хулиган, поняв, что сделка сорвалась, свистнул, дал мне вдогонку поджопник и, выкрикнув что-то боевое и армейское, побежал со двора. И я никогда его больше не видел.

Вот какую незабываемую вещь я запомнил и помню всю последующую жизнь, а точнее, пятьдесят три года. Это я вычислил, отняв от

своих пятидесяти девяти тогдашние шесть. Арифметика всегда была моим самым сильным местом из всей алгебры.

Вторым из прекрасных предметов, все еще плывущим по волнам моей памяти, был железный меч в жестяных ножнах, который встретился на моем жизненном пути, когда я уже был взрослым, лет восьми. Этим мечом обладали два брата-близнеца, как и я приехавшие на лето к дедушке и бабушке в станицу Ярославскую Краснодарского края. Только они жили ближе к универмагу, где продавались мармеладные зайцы и перочинные ножки, а я подальше, ближе к кладбищу. Мы как-то сразу сошлись, часто игрались на кладбище, а в тот день очень мило развлекались в ихнем саду с кинескопом от старого телевизора, отданным близнецам на растерзание. Мы поставили его вместо мишени и кидались камнями, кто попадет. Наконец мы попали и кинескоп восхитительно взорвался и разлетелся на мелкие осколки, и мы весело стали бегать и кидаться в друг друга, но уже не камнями, а яблоками «белый налив».

Как вдруг один близнец сбегал попить и вернулся, махая мечом такой красоты, что я остолбенел на бегу. Меч был прекрасен и железен. Впоследствии, в более зрелые годы, я узнал, что это был древнеримский «гладиус», короткий широкий меч для ближнего боя. Он тоже был самодельным, как и автомат, и нисколько не напоминал жалкие детскомировские «мечи-кладенцы». Я испытал томление, охватившее Эллочку-Людоедку, когда она увидела ситечко мадам Грицацуевой. В тот момент она простонала: «Хо-хо!..», а я же прошипел: «с-с-с!..»

В общем, чтобы не углубляться в долгий разбор ущербной детской психологии, я сразу говорю, что спер этот меч при первой возможности. Когда братья побежали, позванные бабушкой кушать ряженку, я схватил его и полетел с ним домой. Я испытывал ощущения грузинского джигита, похитившего свою любимую и скачущего по горам в родной аул или кишлак, любовно поглаживая драгоценный груз, перекинутый через лошадь.

Я бежал, пожирая взглядом чудесный меч. Я выхватывал его и рубил им на бегу. Я вскрикивал. Я был юным спартанцем, которому старшие разрешили наконец-то убивать илотов. Я был Чапаем. Я... Да что говорить! Большого счастья, счастья, тем большего, что меч был ворованным, я не испытывал потом за всю жизнь, даже в те бешеные годы, когда, распираемый бурлением гормонов, упивался вожделенным соитием с женой друга. Ну что сказать? Вы и сами, небось, наломали дров за свою сексуальную жизнь, так что можете понять меня и мои чувства.

Развязка поразила меня своей быстротой. Прибежав домой и положив меч на лавочку, я кинулся в будочку на огороде, куда давно ужасно хотел. Каковы же были мое горе и отчаяние, когда, прибежав назад, чтобы вновь слиться со своим Эскалибуром, я не нашел его на прежнем месте! Напрасно бегал я по двору, злобно кышкая на кур и индюшек, даром искал в летней кухне, безрезультатно ползал под крольчатником — меч исчез!

Очевидно, не успел я выбежать со своим мечом, как братья, допив свою ряженку, кинулись в погоню и, незаметно войдя в калитку, схватили его и были таковы! С тех пор мы прекратили дружить, тем более что при встрече два брата еще издали показывали мне дулю и издевательски хохотали.

Тогда, в детстве, когда душа ребенка еще так чувствительна, подлость и вероломство этих близнецов ранили меня особенно глубоко. Больше я никогда не видел меча и тем более автомата — они остались по ту сторону добра и зла. Вот то прекрасное, что было в моей жизни.

Но тут деньги в кассе закончились, пенсионеры с бранью разошлись, и я вошел на почту и купил туалетной бумаги «Честные 60 метров» и вафель «Артек», намного лучших в пачках чем развесные.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

У всех когда-то бывают детские мечты. Может быть, детские грезы посещали даже Гитлера

с Чингисханом. Но, как это ни грустно, они, мечты, имеют такую тенденцию, что редко сбываются, а чаще не сбываются вовсе. Хотя иногда и сбываются. Но не часто.

Например, мечтала девочка стать звездой в детстве — и стала. Хотел мальчик сделаться киллером, как Данила Багров, — и сделался. Но в основном, как правило, не сбываются.

У меня, например, не сбылись.

Так, когда я был маленьким и жил у бабушки с бабушкой на Кубани, в Краснодарском крае, я мечтал стать самокатчиком. Не совсем понимаю сейчас, что это значило, но помню, что хотел, как вырасту, стать именно самокатчиком.

Позднее, когда я стал взрослее и мне было уже года четыре, я мечтал стать пожарником.* Еще позже, когда папа с мамой забрали меня в город и мне уже шел шестой год, я оставил эти детские фантазии ради других, более реальных. Больше всего с пяти до десяти лет я мечтал сбежать назад к бабушке с бабушкой в родную станицу и стать комбайнером (вариант — трактористом). Но и этому было не суждено сбыться.

В тринадцать лет, начитавшись Александра Беляева и посмотрев «Человека-амфибию» семнадцать раз, я твердо решил стать Ихтиандром. Для этого я планировал поступить в Институт Трансплантологии АН СССР, стать выдающимся хирургом, как доктор Сальватор, а дальше было бы видно. Я даже похитил у тетки-медсестры железный несесер со скальпелями, зажимами и прочими предметами хирургической необходимости, собираясь, видимо, явиться в Институт Трансплантологии со своим инструментом. Тетка взяла эту блестящую коробочку машинально, на память, когда ее увольняли из станичного медпункта за прогулы, а уже у нее спер я. Несколько лет потом, до самой моей армии, время от времени всплывали то скальпель среди ножей и вилок, то зажим в папиных инструментах, а потом куда-то пропали.

**Между прочим, когда в конце 19 века этим словечком «пожарник» стали называть пожарных, те смертельно обиделись, потому что*

«пожарниками» в старину называли липовых погорельцев, просивших подаяние в Москве. Одна деревня, не помню какого уезда и губернии, буквально специализировалась на этом, зимою в полном составе выезжая в Москву «на гастроли». Но я об этом не знал и мечтал стать именно пожарником.

Шестнадцати лет я возмечтал стать каратэистом и для этого поступил в подпольную секцию. Сэнсэем в ней был маленький золотозубый человек по фамилии Иванчихин. Деньги, 15 рублей на подпольную борьбу, я каждый месяц клянул у мамы. Но ничего не получилось, так как у меня обнаружилась врожденная неспособность сесть в шпагат, без чего, естественно, нечего было и мечтать ловко бить ногами в голову.

Учительница литературы Лиина Афанасьевна, приходила в отчаяние, что такой способный мальчик не думает поступать в Киевский университет на факультет журналистики. Задним числом я благодарен этой доброй женщине, давно уже покойной, что она переживала за меня.

А потом жизнь закрутила меня, забросала и после армии я мечтал уже только об одном — поскорее расписаться с Вероникой Кислицкой, чтобы обладать ею всецело. Когда через два месяца после свадьбы родился Шурик, папа отвел меня на стекольный завод, и все мои мечты развеялись окончательно.

История моей жизни, а мне уже почти шестьдесят — всего лишь частный пример неудачи. Я не стал ни самокатчиком, ни Ихтиандром, но теперь уже поздно об этом жалеть, ведь время не повернуть вспять и второй раз не войти в одну и ту же реку. И все же пример моей жизни, моих несбывшихся мечт, как я уже говорил, — всего лишь частный случай, ни о чем не говорящий. Потому что у одних оно так, а у других совершенно эдак.

Например, чтобы не ходить далеко, у моей жены Веточки, о которой я уже говорил, мечта сбылась. Этот драгоценный случай учит нас, что не следует опускать руки, а нужно верить в себя, надеяться и тогда, как знать, может быть

ваша птица счастья, уже изрядно полинялая и обтрепанная, еще прилетит к вам, крыльями звеня.

Вот как случилось, что мечта жены сбылась, пусть и к тому времени, когда Веронике Дионисьевне, если честно, уже пора было подводить итоги и начинать думать о душе.

Все свое детство, начиная с восьмого класса, Вероника Дионисьевна, а для домашних просто Веточка, мечтала стать учительницей начальных классов. Учительницей начальных классов, а не, допустим, химии или географии, Веточка хотела стать потому, что к химии с географией, а равно и ко всем другим наукам, испытывала непреодолимое отвращение; на трудах сачковала, от физкультуры косила, петь же не могла по причине полного отсутствия слуха. Быть же учителем у маленьких деток ее ума, как Веточке казалось, должно было хватить.

Долго ли, коротко ли, но декану физфака пединститута была дана взятка, и Веточка со своей мамой принялась ждать, когда же уже можно будет вгрызться в гранит педагогической науки. Но жизнь разрушила все воздушные замки, и хитрож...й декан, не сделав ничего в надежде на «самокат», вернул шестьсот рублей назад, а Веточка, обливаясь слезами, устроилась в бухгалтерию «Химволокна» на участок табуляции и перфорации.

Может быть, она поступила бы в пединститут на другой год, через какого-нибудь декана почестнее, но тут жизнь замотала ее, завращала и бросила в объятия красавца дембеля в фирмовых «джинах» и туфлях «Цебо». Начались, как водится, ссоры и свидания, поцелуи и прощания, квартиры на час, скамейки в ночных скверах и укромные полянки в Гидропарке, где влюбленным бы не мешал весь остальной мир. В итоге родился Саня, и мечта Веточки, казалось, была похоронена навсегда. Как вдруг, не прошло и срока лет, мечта детства взяла и сбылась.

Как это часто случается, счастья могло и не быть, если бы не несчастье. Потеряв во время коронавируса работу, Веточка долгое время сидела на моей шее, пока я не начал коситься.

Тогда она стала искать хорошую работу, но, разумеется, ничего не нашла. Как вдруг, благодаря одной своей подруге, Веточка устроилась няней в семью одних сектантов, не то из Церкви Сердца Иисусова, не то откуда-то еще, и стала ходить за их маленьким ребенком. И вот она стала ходить за их маленькой пятилетней девочкой и смотреть ее.

Сектанты не боялись вируса, уверенные, что все в руке Божией, и когда прежняя нянька села на самоизоляцию, наняли Веточку.

И вот она стала смотреть их пятилетнюю крошку, используя все свои нерастроченные педагогические способности. Так бы она и работала по специальности, наслаждаясь сбывшейся мечтой, но тут церковники все заболели, и Веточке пришлось уйти и опять сидеть дома.

Но — сбылась мечта — открывая ворота! И теперь уже другая подруга нашла ей другую работу — смотреть 96-летнего военного, подполковника в отставке, хорошего дедка, хотя и еврея. Поскольку 96-летний военный может быть приравнен к 5-летнему ребенку, в работе Вероники Дионисьевны мало что переменялось и она с удовольствием ходила на нее, вновь наслаждаясь обретенной мечтой. Тем более, что дед был еще мужчина хоть куда и, охая и скрипя зубными протезами, ползал в сортир сам. Надо было только беседовать с ним о финской войне, тащить за руки, когда он хотел встать с кресел, кормить таблетками да звонить его 73-летней дочери, если папа потеряет сознание.

Все шло хорошо, как вдруг дедушка тоже заболел коронавирусом, и Веточке снова пришлось уйти.

Но, как говорит эксперт Пальчуковский, сначала ты работаешь на репутацию, а потом она на тебя. Слухи о педагогических успехах Вероники Дионисьевны быстро распространились среди знакомых, и вот жена получила третью и последнюю работу из области педагогики, точнее, дрессуры, что, в конечном счете, одно и то же. Эта последняя оказалась и самой лучшей, и может считаться пиком ее карьеры. Теперь она смотрит старого пуделя у одних бизнесменов.

С утра семья, муж и жена, разъезжаются по своим бизнесам, и пудель Тиша, который до этого спал как убитый, тут же поднимает такой вой, будто в каждом из соседних особняков лежит покойнику. Тиша, которому по людским меркам лет столько же, как подполковнику, все еще дорог своим хозяевам, и они готовы на все, даже платить сто долларов в месяц, лишь бы он спокойно дожил свой Мафусаилов век. Теперь Веточка целыми днями лежит на диване возле дрыхнущего Тиши, спит вместе с ним, смотрит сериалы по гигантской плазме и кушает испанский хамон в холодильнике, пока не вернутся хозяева и не дадут ей денег.

Единственное ее желание, это чтобы эта педагогическая поэма продолжалась как можно дольше. И надежда на это есть, ибо пудель Артемон еще крепкий старик и наверняка годика два еще протянет.

МОИ ДРУЗЬЯ

Мой первый друг, Юлий Степанович Галин — профессор украинского языка и литературы. Изначально он готовился к преподаванию русского языка, но жизнь внесла свои коррективы и теперь он специалист по мове. Он знает такие слова и обороты, которые даже в голову не придут обыкновенному человеку. Например: «бэркыцнык». Это означает по-украински: «чебурашка».

А если скажешь ему:

— Ну, будь здоров, не кашляй! — он отвечает машинально:

— На взаєм.

И только потом, как бы спохватившись, добавит по-русски:

— Бай-бай! И тебе не болеть!

Юлий Степанович то ли декан факультета, то ли заведующий кафедрой в университете. И кроме всего, еще директор Института журналистики. Если я не путаю. Он взлетел так высоко по социальной лестнице, что сидит наверху, как орел на горной вершине, озирая возню дичи внизу. Он лебедь, плывущий над птичьим двором, где его в детстве обижали петухи и курицы.

Юлий Степанович замечательный друг, редкостный муж, мудрый педагог, чуть не сказал: «чемпион Берлина по теннису». Для студентов он вместо родного отца. Дочь замужем за прокурором. Но он ничем не показывает своего превосходства. Когда мы собираемся в компании, он не чинится и поет вместе со всеми «Стюардессу по имени Жанна».

Мне, безусловно, льстит, что у меня такие друзья, и это возвышает меня в собственных глазах. Ведь как говорили древние римляне: «Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты». Или древние греки. При случае я люблю вернуть в разговоре: «Вчера бухали с академиком, так еле довел!» — поднимая этим свой невысокий имидж.

Мой второй друг был в начале девяностых бизнесменом, что очень странно, учитывая его мягкий, покладистый, чтобы не сказать, застенчивый, характер. Он не любит ворошить прошлое, но можно догадаться, что он занимался довольно разными делами. К счастью, он вовремя свернул с кривого пути. Хотя и провел в СИЗО два года, якобы за то, что вывез потерпевшего в лес и заставил копать себе могилу. Сейчас Петр Казимирович, так зовут моего второго друга, пастор в церкви харизматов. Несмотря на множество ограничений, налагаемых на служителей религии, ничто человеческое моему другу не чуждо и он, если не читает проповеди, встречается с нами на нашем старом месте за памятником Домбровскому и, как все, подтягивает «Стюардессу Жанну». Мой второй друг тоже хороший человек. Да и могут ли друзья быть плохими? Ведь тогда они не были бы нашими друзьями.

Мой третий друг, Иван Васильевич Попанов, всю жизнь был сердцеедом, чтобы не сказать бабником. Он так любил женщин, что долгое время, с шестнадцати до сорока восьми, не мог думать ни о чем другом, разве что о друзьях. А женщины любили его настолько, что Иван Васильевич трижды был женат, пока в него не влюбилась судья апелляционного суда и не женила на себе в четвертый и последний раз.

Но и кроме своего рыцарского отношения к женщинам, Попанов очень хороший человек.

В молодости он был участковым на Житнем рынке и вел себя с мясниками и грузинами совершенно так, как городничий с купцами в «Ревизоре». В то время его любимым фильмом был французский «Откройте, полиция!» Потом вторая жена заставила его бросить милицию и сделала частным предпринимателем — он на «Газели» возил товар из Киева для ее ларьков. Третья жена ничего от него не хотела, кроме любви. Ему тогда пришлось работать грузчиком в гастрономе «Свиточ» и по совместительству вышибалой в ночном клубе «Золото Маккены», а в свободное время любить жену. От такой жизни Попанов похудел, побледнел и, как говорилось в «Декамероне», стал зябнуть на солнцепеке.

Но тут, к счастью, он познакомился в ночном клубе с судьей, и она стала его последней лебединой песней. Сейчас Иван Васильевич старший юрист в «Житомирсвете». Иван Васильевич, а для друзей просто Пупок, очень хороший человек, невзирая на шлейф слухов о его связях с чужими женами.

Мой четвертый друг по фамилии Лебединский — компьютерщик от Бога. В конце девяностых он был хакером, что всегда представлялось мне верхом интеллектуальных возможностей человека. Днем он работал в мэрии, напоминая мне чиновника Сордини из кафковского «Замка».

Его сынок Петруха пошел весь в папу и однажды снял деньги со счетов краковской полиции. И хотя на суде он доказывал, что просто случайно ошибся, все же ему впаяли трешник. Впрочем, у хакеров, или, как сейчас говорят, айтишников, свой особый, ни на чей не похожий, путь. Я не завидую людям, понимающим в компьютере, как не завидую солнцу или ветру.

Мой пятый и последний друг работает врачом в областной психиатрической больнице. Больницу эту в народе называют «Гуйвой», по названию маленькой речки, на берегу которой она стоит. Житомиряне иногда шутят: «Тебе на Гуйву давно пора, дебил!» или: «Ну, ты! Вася Гуйван!»

Этот друг, Тимоша Маяков, часто рассказывает нам, еще до того, как мы начали петь

«Стюардессу по имени Жанна», разные забавные случаи с пациентами своей больницы, в юмористической форме комментируя их истории болезни. Особенно много, по словам Тимоши, в дурдоме сейчас патриотов. Один все время кричит, как сумасшедший из «Золотого тельца». Только тот кричал: «На Форум! На Форум!», а этот: «На Майдан! На Майдан!» В прошлую субботу, когда мы встретились на своей лавочке за памятником Ярославу Домбровскому, герою Парижской коммуны, Тимоша вдруг хлопнул себя по лбу и, дав подержать бумажный стаканчик профессору Галину, сказал:

— Кстати, Достоевский! (Достоевский — так меня в шутку называют друзья). Это по твоей части. Один псих подарил. Бред сумасшедшего, конечно, но мало ли, вставишь куда-нибудь, типа, «Вечера на хуторе близ Гуйвы».

И дал мне тетрадку, которую, скорее всего, жевал теленок. На обложке стояло крупными буквами: ТАЙНА ЭНИГМЫ.

Дома я прочитал страницы, покрытые то ли почерком гения, то ли отпечатками куриных лап. Я мало что разобрал и понял только, что речь идет о Второй Мировой войне. Но потом я прилежно прочел и смог прочесть конец этого опуса. Вот этот конец:

«...могу только сказать, что англичан ожидал успех. Доведя до алкоголизма и нервных срывов математиков и гадалок, запертых в одном помещении, перетопив понапрасну кучу подводных лодок, англичане разгадали тайну энигмы, за что, конечно, молодцы. А до того волчьи стаи адмирала Канариса топили караваны судов, шедшие в Англию с сигарами, кофе, слоновой костью, не говоря уже о рыбьем жире, помогающем от рахита. Купить это в Лондоне можно было только из-под черной полы, да и то за сумасшедшие фунты стерлингов, что, конечно, не всем было по карману.

В общем, молодцы! Молодцы-то молодцы, но! Неужели нельзя было все сделать гораздо проще, без шума и пыли? Что мешало взять трубку Черчиллю и позвонить Сталину:

— Здравствуйте, дорогой Иосиф Виссарионович! Как ваше ничего? Как детки? Привет жене! У нас тут возникла маленькая загвоздка. Не могли бы вы дать команду помочь ее распутать? Заранее благодарен, ваш Черчилль.

Что, свалилась бы с него корона герцогов Мальборо?

И неужели кто-то думает, что человек, катающийся на машине с Борманом, правая рука Шелленберга, сделавшая Мюллера, как ребенка, не достал бы вам эти вшивые коды за неделю-полторы? Абсурд!

Но Алекс не получал шифровки от Юстаса и занимался делами поважнее, в частности, вербовал пастора Плятта...»

Далее вконец неразборчиво, кроме последних слов: «...мрачная тайна энигмы».

Таковы мои друзья, старые спутники моей жизни, свидетели-участники большинства ее дурацких событий, одноклассники, братья.

Хочу только надеяться, что и я не худший друг, чем они. Ведь друзей не бывает слишком много и настоящие друзья это только друзья детства, а новых в старости не нажить, тем более что на горизонте уже маячит разгадка Тайны.

Зельдин Сергей, родился в 1962 г. в станице Ярославская Краснодарского края, Россия. С 1972 проживаю в городе Житомир, Украина. Закончил школу, служил в армии, работал стеклодувом, инкассатором, был бизнесменом, сторожем и даже политиком. Публиковался в журналах «Радуга» (Украина), «Крещатик» (Германия), «Волга» (Россия), «Новый берег» (Дания).

SUMMARY # 111

Poetry and translations. New poems by Valeriy Skoblo (St. Petersburg), Natalia Kravchenko (Saratov), Tatiana Ananich (Tel Aviv), Vadim Gorinov (Moscow), Dmitry Bliznuk (Kharkiv), Evgeny Ternovsky (Paris), Alexander Apush (New York). In addition, translations from Ukrainian to Russian (Mikhailo Letskin “Sonnets”) by Svetlana Shatalova (Catalonia) and from Ukrainian to English by Galina Itskovich (Brooklyn).

Splinters from the past. Three practically real stories by our old-timers: Leonid Rokhlin, David Shroyer-Petrov, Evgeniy Belodubrovsky.

History. Literary studies. Science. The tragic page of Russian history (1738) – “Burnt alive”, by

Lev Berdnikov. The interview with the widow of Yuri Gert, the writer, taken by Alexander Shapiro. The review on the new book, by Vladimir Spektor. The essay by Anrieta Zhekova and Victor Fet “The first Bulgarian translator of “Alice in the Wonderland”. Victor Fet’s recollections of National Park “Badkhyz” on the very south point of Russia and its keeper Yuri Gorelov. Elena Patskina’s interview with Confucius.

Prose as it is. “Love and Pandemia”, by Faina Koss. “The Secret”, by Tatiana Sheremeteva. “Forgive, if you can”, by rev. Nikolai Tolstikov. Three mostly realistic stories by Anatoliy Postolov. And three mostly humorous - by Sergei Zeldin.